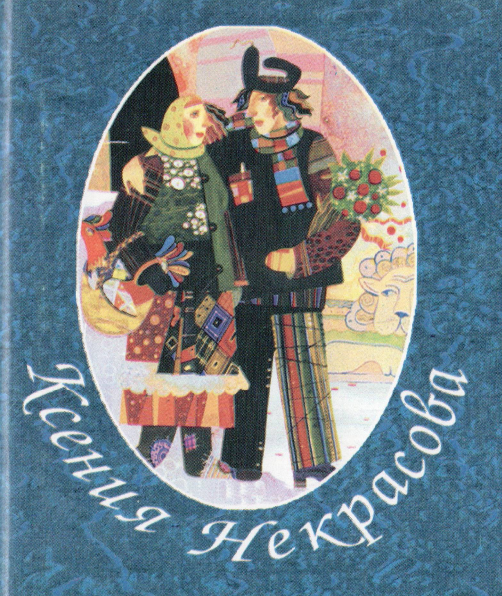
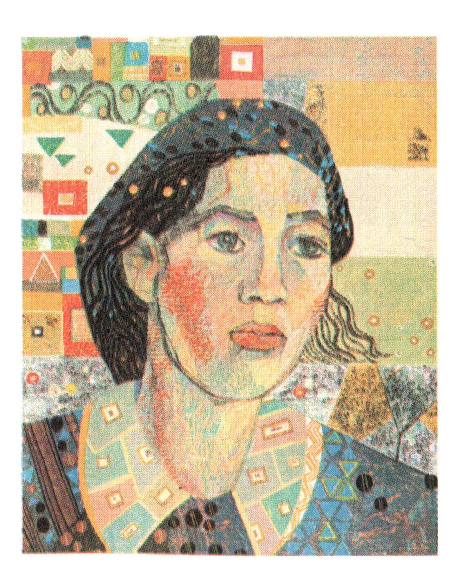


Ксения Некрасова

в деревянной сказке

Ксения Некрасова

в деревянной сказке



Ксения Некрасова

В деревянной сказке

Стихотворения



Москва
«Художественная литература»
1999

УДК 882
ББК 84 (2 Рос-Рус)-6-5
Н48

Послесловие,
состав и подготовка текста
И. И. РОСТОВЦЕВОЙ

Иллюстрации
Н. А. ПЕТРОВОЙ

Оформление
И. М. ГИРЕЛЬ

ISBN 5-280-01095-2



Стихотворения

О себе

Я долго жить должна —
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол —
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки милых лет,
как оленята из тайги,
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.

Слово

Мне в дар Отчизна принесла
жемчужницы в подоле —
дыханье мира и свободы
обширно хлынуло в стихи.
Как жемчуг, русские слова
лежат в сиянье оболочек,
они несут в строенье строчек
народов новые черты.

Русский день

И густо снег летел из туч...
И вдруг зари багровый луч
поверхность мглистую задел –
сугроб в тиши зарозовел,
старинным серебром отяжелели
на бурых бревнах
шапки крыш,
и небеса, как васильки,
вдруг синим цветом зацвели,
и мощные стволы
вздымались из снегов,
пронзая прутьями сучков
оплыв
сияющих сосулек.

И восхищенный взор мой ликовал,
и удивлений дивный трепет
чуть-чуть покалывал виски, —
и плакать можно,
и писать стихи.

Вон крестики сорочьих лап,
как вышивки девичьи на холстах...

И предо мной предстал народ,
рожденный в ярости метелей
и от младенческих мгновений
и до белеющих седин
живущий чуткой красотою.
Храните Родину мою!
Ее берез не забывайте,
ее снегов не покидайте.



* * *

Из года в год
    хожу я по земле,
и за зимой зима
    проходит под ногами,
и день за днем гляжу на снег
и наглядеться не могу снегами...
    Вот и сейчас
на черностволье лип
снег синей молнией возник.

О, сердце у людей, живущих здесь,
должно оно любезным быть
    от этих зим.

Прозрачным быть оно должно
и совесть, белую, как снег,
нести в себе.
Шел белый снег
на белые поляны,
и молнии мерцали на ветвях...

Из детства

Я полоскала небо в речке
и на новой лыковой веревке
развесила небо сушиться.
А потом мы овечьи шубы
с отцовской спины надели,
и сели
          в телегу,
и с плутом
поехали в поле сеять.
Один ноги свесил с телеги
и взбалтывал воздух,
                              как сливки,
а глаза другого глазели
в тележьи щели.

А колеса на оси,
как петушьи очи, вертелись.
Ну а я посреди телеги,
как в деревянной сказке, сидела.

Русская осень

За картошкой к бабушке
ходили мы.
Вышли, а на улице теплынь...
День, роняя лист осенний,
обнажая линии растений,
чистый и высокий,
встал перед людьми.
Всякий раз
я вижу эти травы,
ели эти
и стволы берез.
Почему смотреть не устаешь
миг,
и час,
и жизнь

одно и то же?..
О! Какие тайны исцеленья
в себе скрывают русские поляны,
что, прикоснувшись к ним однажды,
ты примешь меч за них,
и примешь смерть,
и вновь восстанешь,
чтоб запечатлеть
тропинки эти,
и леса,
и наше небо!

Урал

Лежало озеро с отбитыми краями...
Вокруг него березы трепетали,
и ели, как железные, стояли,
и хмель сучки переплетал.
Шел человек по берегу — из леса,
в больших болотных сапогах,
в дубленом буром кожухе,
и за плечами, на спине,
как лоскут осени, —
                                        лиса
висит на кожаном ремне...
Я друга из окошка увидала,
простоволосая,
с крыльца к нему сбежала,

он целовал мне шею,
плечи,
руки,
и мне казалося, что клен могучий
касается меня листами.
Мы долго на крыльце стояли.
Колебля хвойными крылами,
лежал Урал на лапах золотых.
Электростанции,
как гнезда хрусталей,
сияли гранями в долинах.
И птицами избы
на склонах сидят
и желтыми окнами
в воду глядят.

* * *

А я недавно молоко пила —
козье —
под сочно-рыжей липой
в осенний полдень.
Огромный синий воздух
гудел под ударами солнца,
а под ногами шуршала трава,
а между землею
и небом — я
и кружка моя молока,
да еще березовый стол —
стоит для моих стихов.

Утренний этюд

Каждое утро
к земле приближается солнце,
и, привстав на цыпочки,
кладет лобастую обветренную
голову на горизонт,
и смотрит на нас —
или печально,
или восхищенно,
или торжественно.
И от его близости земля обретает
слово.
И всякая тварь начинает слагать
в звуки
восхищение души своей.

А не умеющее звучать
дымится синими туманами.
А солнечные тучи
начинаются с солнца
и на лугах оканчиваются травой.
Но счастливейшие из лучей,
коснувшись озер,
принимают образ болотных лягушек,
животных нежных и хрупких
и до того безобразных видом своим,
что вызывают в мыслях живущих
ломкое благоговение.
А лягушки и не догадываются,
что они родня солнцу,
и только глубоко веруют зорям,
зорям утренним и вечерним.
А еще бродят между трав, и осок,
и болотных лягушек
человеческие мальчишки.
И, как всякая поросль людская,

отличны они от зверей и птиц
воображением сердца.
И оттого-то и возникает в пространстве
между живущим и говорящим
и безначальная боль,
и бесконечное восхищение жизнью.

Рисунок

Лежали пашни под снегами...
Казалось, детская рука
нарисовала избы углем
на гребне белого холма,
полоску узкую зари
от клюквы соком провела,
снега мерцаньем оживила
и тени синькой положила.

Весна

Босоногая роща
всплеснула руками
и разогнала грачей из гнезд.
И природа,
по последнему слову техники,
тонколиственные приборы
расставила у берез.
А прохожий сказал о них,
низко склоняясь:
«Тише, пожалуйста, –
это подснежники...»

* * *

И стоит под кленами скамейка,
на скамье, небес не замечая,
юноша, как тонкий дождик,
пальцы милой женщины руками,
словно струны, тихо задевает.
А в ладонях у нее сирени,
у плеча кружевная пена
и средь тишайших ресниц
обетованная земля, —
на прозрачных лугах
ни забот, ни тревог —
одно сердце поет
в берестяной рожок
о свершенной любви.



* * *

Отходит равнодушие от сердца,
когда посмотришь на березовые
листья,
что почку открывают
в середине мая.
К младенчеству весны
с любовью припадая,
ты голову к ветвям склоняешь,
и в этот миг
походит на рассвет —
бурею битое,
грозою мытое,
жаждой опаленное
твое лицо,
мой современник нежный.

Мой институт

Тверской бульвар...
Олеными рогами
растут заснеженные тополя,
сад Герцена, засыпанный снегами;
за легкими пуховыми ветвями
желтеет старый дом,
и греют тлеющим огнем
зажженные большие стекла.
И я сама —
торжественность и тишина —
перед засвеченным стою окном;
в окне прошел
седеющий Асеев,
на нервном, как ковыль, лице

морские гавани
нестылых глаз
теплом нахлынули
на снежные покои.
Мы знаем вас,
друг молодости нашей,
чистосердечность вашего стиха
и бескорыстность светлую
в поэзии.
Вот юноша, поэт,
и, словно раненая птица,
косой пробор
растрепанным крылом
на лоб задумчивый ложится.
Трагедию войны сокрыв,
по лестнице идет другой,
рассеянный и молчаливый,
он знает финские заливы,
мечтательный и верный воин
и грустный, как заря, певец.

Пуховый ветер над Москвой...
Но лебеди покинут белый дом,
последний крик
с плывущих облаков
прощальной песней
ляжет на крыльцо.

Январь 1941 г.

* * *

Дела наши, что сделаны нами, —
огромного роста.
Липа и кедр городам по колено,
а ладони у нас, как кленовые листья,
тонки и малы, —
на ладонь не уместишь кирпич.
И вот у таких-то слабых и хрупких,
не вырастающих и до половины
дерева,
из-под рук поднимаются
многоэтажные здания,
протягиваются километровые мосты.
И пальцы,
умеющие отделять лепестки цветов,
рассекают каменные горы.

Утренний автобус

Люблю я утренние лица
людей, идущих на работу, —
черты вычерчены резко,
холодной вымыты водою.
Садятся рабочие люди в автобус.
Еще не бранятся
на мягких сиденьях
гражданки в шляпах модных
и перьях,
и потому
в автобусе нашем
доверчиво тихо.
Почти все пассажиры
читают газеты.

Проходит автобус
вдоль Красной Пресни...
Уборщица входит,
с лицом сухощавым,
в синем халате
и красном платочке.
Парень в спецовке учтиво встает,
место свое уступая женщине.
А рядом сидят два маляра.
Старший маляр –
спокоен и важен.
Глаза у него, как сталь, строги.
С ним сидит ученик молодой,
навсегда удивленный Москвой.
А раннее утро уходит вдаль...
Автобус полон народу.
Моя остановка.
И я схожу.
Идет Москва на работу.

* * *

Утром рабочие ходят по улицам,
а ленивые телом
спят в четырех стенах.
И, конечно,
великолепие зорь
достается рабочим.

Улица

Волнует улица меня
неуловимою идеей,
которую назвать я не умею,
лишь стать частицей улицы могу.
Пойдем вдвоем,
читатель милый,
по вечереющей Москве
и с улицей смешаем цвет
одежд своих,
восторженность весны
с толпою разделив...

Давай присядем здесь —
в тени листвы —

и будем лица проходящих
читать, как лучшие стихи.

И город встал, касаясь облаков,
одетый в камень
и украшен медью.
И в окнах зори отражались.
И вальсы, как грядущее, звучали,
и синими огнями загорались
вечерние рекламы на фасадах.

И на безлиственных сучках
цвел чашечками розовый миндаль...
И множество детей,
как первые цветы,
лежали на простынках белых
и в первый раз глядели в небеса.

Вон
детский врач идет
с улыбкой Джиоконды,

дано ей травами младенцев мыть,
и солнцем вытирать,
и воздухом лечить.

Еще вон женщина прошла,
шелками стянута она,
как гусеница майского жука,
и серьги с красными камнями
висят, как люстры, под ушами,
и от безделья кисти рук
черты разумные теряют.

Две ножки в пестрых босоножках
девчонку дерзкую несли
с глазами яркими, как всплески,
на платье — яблоня в цвету.

Навстречу ей
студенты шли,
веселья звучного полны,

с умом колючим за очками
и просто с синими глазами...

Взволнованных мечтаний
город полн...
Он вечно улицами молод
и переулками бессмертно стар.

Стихи о любви

Твоей руки
коснулась я,
и зацвела сирень...
Боярышник в сквере
Большого театра
цветами покрыл шипы.
Кратчайший миг,
а весна на весь мир,
и люди, прекрасней ветвей,
идут, идут,
излучая любовь,
что в сердце зажглась в моем...

Чаша в сквере

Меж стволов березовых у сквера
возвышалась мраморная чаша;
листья виноградные из камня
чаши основанье обвивали.
И девчонка в ватной душегрейке,
в яркой, как зарницы, юбке
протирала тряпкою холщовой
каменные гроздья по бокам.
Мрамор для нее —
не камень бессердечный.
Девушка фасады лицевала
мрамором на Ленинских горах.
И еще в свои семнадцать весен
наблюдала изморозь на окнах

и рисунки трав на огородах,
острых елей тонкие черты.
И сейчас, рассматривая чашу,
вдруг вплетенный в мраморные
стебли
цвет укропа каменный находит,
высеченный четко и красиво.
Рос укроп на огородах буйно;
раньше ей и в мысль не приходило,
чтобы будничный укроп
на грубом камне
восхищал людей
тончайшею резьбою.
Так, смывая пыль на высечках
и гранях
и разглядывая каменные травы,
для себя она негаданно постигла
единенье жизни и искусства.
Прошлогодний лист из чаши выметает
и водою наливает чашу,

и от влаги оживает мрамор
и сквозит прожилками из недр.

И с обветренными девушка руками,
в ссадинах от ветра и воды,
в алой юбке,
                    пред зарей вечерней,
с легкими, как пламень, волосами
и с глазами, полными раздумья,
тихо перед вазою стоит,
вытирая пальцы о холстину.

И в такой вот час и возникает
светлое желанье стать ученым
или зодчим, мудрым и суровым,
чтобы все, что видишь, все, что понял,
от себя народу передать.

Исток

Когда неверие ко мне приходит,
стихи мои
мне кажутся плохими,
тускнеет зоркость глаза моего, —
тогда с колен
я сбрасываю доску,
что заменяет письменный мне стол,
и собирать поэзию иду
вдоль улиц громких.

Я не касаюсь проходящих,
что ходят в обтекаемых пальто
походкой чванной, —
лица у них надменны,

разрезы рта на лезвие похожи
и в глазах бесчувственность лежит.
Не интересней ли
с метельщицей заговорить?..

Баллада о прекрасном

У метелыщицы в подвале
я осталась ночевать, —
в ту пору я писала о цветах —
и синие думы,
как утренний снег,
дымились в словах моих.
Проснулась ночью, —
лампочка в потолке...
Стоит у стены кровать, —
под красным одеялом
старуха сидит:
в кофте зеленой,
в заплатанном платке,
руки, как бурые корни женьшеня,
лежат на красном одеяле.

«Бабушка, –
говорю я, –
а цветы похожи на ребят,
но ребята с возрастом грубеют,
а цветы остаются как были,
и не потому ли люди смотрят долго
в чашечки цветов, о детстве
вспоминая?»
Утром –
я в мятежности вставала:
ночью что
метельщице наговорила,
где в стихах ей белых разбираться,
просмеёт с подружками меня,
скажет, ненормальная пришла.
Но
вошла тут с улицы старуха,
и в руках у нее букет –
солнечных, желтеющих шаров, –
по-крестьянски сжатый в кулаке.

«Вот тебе, —
метельщица сказала, —
за твои хорошие слова».
Я взяла цветы —
из глаз слеза упала...
Это новое —
решила я.

Мысли

Шла по Пушкинскому скверу, –
вокруг каждая травинка цвела.
Увидала юношу и девушку –
в юности лица у людей бывают
как цветы,
и каждое поколение
ощущает юность свою
как новость...

Анка

От весны до осени
выгоняла Анка
птиц на просеки –
возле речки голубой.

А лицо у Аннушки в веснушках,
и косица как фасольный ус,
и глаза у ней, как синие синицы,
округлясь, разглядывают мир.

А вожак гусиной стаи,
белый, чинный,
клюв горбом,
шею выгянет копьем,

глаз на солнышко скоси́т
и гусям, стоящим чинно,
что-то с гоготом и длинно
в упоенье говорит.

И девчонка с хворостинкой,
в серой кофте, босиком,
на гусиное семейство
с восхищением глядит.

Пух над речкою летит.
На осоке пух сидит.

Под Москвой

Сердитоглазые официантки,
роняя колкие слова,
подавали кушанья
на красно-желтых подносах
желающим пить и есть.
Ощущались медвежьи аппетиты
у сезонников за столом,
большеруких
и груболицых.
Много ездили,
много видели,
города построили для людей, —
барахла не нажили,
да ума
прибавили.

Идут по жизни мужики,
одаряя встречных-поперечных
жемчугами русской речи
от щедрот немереной души.
Пил высокий, чернобровый,
плечи как саже́нь,
галстук новый,
пиджак новый,
при часах ремень.
А другой был ростом ниже,
но в кости широк
и, как всякий лесоруб,
красен на лицо.
На щеках — ветров ожог,
на висках — зимы налет.

А старушка-вышивушка
у стола сидит
и умильно и сердечно
на друзей глядит.

В кружке с пивом у нее
огоньки горят,
а на беленьком платочке
пятаки лежат.

А на окнах занавески
вышиты руками —
белой ниткой по батисту
льдистыми цветами...

А кругом народ ядреный
утверждает жизнь —
щи с бараниной хлебает,
смачно пивом запивает,
белым хлебом заедает.

* * *

Шутки, колечки —
ядреные словечки, —
между дел летят,
о булыжник звенят.

* * *

Когда на ложе
                    счастья
коснешься ты меня,
и поцелуй гвоздикой
вдруг разомкнет уста,
и все промахи рассеются, как дым, —
чувственность очертит
рисунок сердца.



* * *

Из рыданий людских весна,
а между пальцев у нее лучи, –
вскинет к солнцу ладонь,
а в ладони душа,
и совсем не душа,
а любовь,
от желаний пунцовая кровь.

* * *

Как мне писать мои стихи?
Бумаги лист так мал.
А судьбы разрослись
в надширие небес.
Как уместить
на четвертушке небо?

Поэт

Ст. Щипачеву

Вы прячете доброе сердце
в застегнутый наглухо
черный пиджак, —
и вдруг при взгляде на стихи
чуть розовеет бледное лицо,
так при огне просвечивает
алым
мечтательное
зимнее
окно.

Музыка

Было скрипачу семнадцать весен.
И, касаясь воздуха смычком,
юноша дорóгой струн выводил весну
навстречу людям.
И была весна изумлена,
что пред нею —
тоненькой и ломкой —
люди, умудренные делами,
затаив дыхание, сидят,
что глаза у них
от звуков потеплели,
губы стали ярче и добрей
и большие руки на коленях,
словно думы,
в тишине лежат.

* * *

Когда стоишь ты рядом,
я богатею сердцем,
я делаюсь добрей
для всех людей на свете,
я вижу днем —
на небе синем — звезды,
мне жаль ногой
коснуться листьев желтых,
я становлюсь, как воздух,
светлее и нарядней.
А ты стоишь и смотришь,
и я совсем не знаю:
ты любишь или нет.



Кольцо

Я очень хотела
иметь кольцо,
но мало на перстень металла,
тогда я бураны,
снега и метель
решила расплавить
в весенний ручей
и выковать обруч кольца из ручья, –
кусок бирюзовой
московской весны
я вставила камнем в кольцо.
В нем синее небо
и дно голубое,
от мраморных зданий
туманы скользят.

Огни светофора
цветными лучами
прорезали площадь
в глубинные грани,
и ветви деревьев
от множества галок,
как пальмы резные,
средь сквера стоят.
Спаяла кольцо я,
надела я перстень,
надела, а снять не хочу.

* * *

Утверждаются на земле
любовь и камень.
Люди делают из мрамора
вещи,
изображая в камне себя,
сохраняя в форме
движения сердца.
Камень — это стоящее время,
а любовь — мгновение сердца,
время в камне.

Песня

Люди,
а люди!
Знаете ли вы
русскую песню,
когда сердце ее
облегла тоска
и бытия бесконечная степь
изрезана дорогами неудач?
И в грусти, несказанной,
неизмеренной,
неисхоженной,
сидит русский
и поет свою песню...

Но если душа твоя
с птичий носок,
а мысли твои
с вершок,
если жизнь
как нора ужа —
не видать тебе
песни лица.

А видели ли вы,
когда гневы идут
по сердцу ее?

В шлемах свинцовых,
в сапогах,
в подковах,
на железных коня́х,
в ременных крестах
несут гневы
русские кары

в стальном штыке,
в большом кулаке,
в меткой пуле,
в заряженном дуле.
Идут гневы русские
без дорог протóренных,
без тропинок сéченых
по степям душ наших.

Но если душа твоя
с птичий носок,
а мысли твои с вершок,
если жизнь
как нора ужа —
не видать тебе
песни лица.

А восхищались ли вы,
когда русской песне
море по колено?

...Запоет гармонь,
я взмахну платком,
небеса в глазах –
голубым мотком.
А народ кругом
на меня глядит.
Голова моя
серебром блестит.

* * *

Это не небо,
а ткань,
привязанная к стволам, –
голубая парча
с золотыми пчелами
и россыпью звезд
на древесных сучках...

Наставник

День у меня
как петушиные одежды —
золотисто-синий хвост,
и белых два крыла,
и красный гребень у чела.
День потому
        наряден так,
что каждый мой
свершающийся шаг
осеняет учитель особый, —
одетый в одежды
из листьев чудесных.

Вздымался кедр,
        передо мной

касаяся медвежьей головой
плывущих туч
над хвойною землей.
Я каждый день
сидела перед ним.
И удивлялась
древесине,
что, не ломаясь, возникала.

Раздумье

На столе открытый лист бумаги,
чистый, как нетронутая совесть.
Что-то запишу я
в памяти моей?..
Почему-то первыми на ум
идут печали.
Но проходят и уходят беды,
а в конечном счете остается
солнце, утверждающее жизнь.

* * *

Слова мои —
как корневища.
А мысль —
как почвы перегной.
Как сделать мне,
чтоб корневище ствол дало
и кончиками веток зацвело?..

1941 год

Ночь, обезглавленная взрывами,
уставилась из стены,
до жути квадратнобокие,
чернели ямы из глазниц.
А из разбитых углов —
обнаженный,
                    как кровь,
                              кирпич.
А может, и нет
четвертой стены.
Может,
это сама война
выставилась на нас двоих.
А в комнате мы:

я
да сын
месячный в колыбели.
А от стены к стене
простерлась пустота.
И ужас колыхал дома,
и обезумевшие стекла
со свистом прыгали из рам
и бились в пыль о тротуар,
истерикой стеклянной звеня.
И входит муж,
он в черной весь пыли.
И страшный скульптор
пальцами войны
из каменных пород
лик вылепил его.
Огромный лоб
с изломами тревог
повис над озером глазниц.
Где мира нет,

откосом скал
катился подбородок вниз,
и только человечий рот
был обнажен и прост
пред волею судьбы.
«Что сын?» —
и к сыну подошел.
На склоны лба
спокойствие легло.
И яснолунная склонилась тишина
над ликом сына и отца.
И стены успокоенно молчат,
и потолок повис над головами,
и тоненько звенят в стакане
осколки битого стекла.
И в этой ясности
стоял он долго-долго.
А может, миг,
единый миг
таким возьми.

И рухнул,
и ясности нет.
В ясности буря чувств,
и тяжко от смертей глазам.
И пальцы
жмут изломанный мундштук,
и голос
как чугунная доска,
от боли треснув
пополам:
«Взорвали шахты мы сейчас
и затопили их».
А площадь за окном
от взрывов бомб
вздымала волосы столбом,
и щупальца, шурша в небесах,
прощупывали землю и сердца.

Не надо плакать, мой стих!

Не надо плакать,
            мой стих!
Ты наденешь на плечи рюкзак,
русскую палку в руки возьмешь,—
и к дальним верстам дорог
себя для людей понесешь.
Безгнездные,
мы растеряли стаи:
            сыны в боях,
            отцы в боях,
            братья в боях.
А мы,
с грудными на руках,
вдоль СССР

ошеломленно бежали
и оставляли счастье у дорог:
и без цветов,
и без крестов,
и нету слез.
Осиновый кол
в груди моей.

Мускулы крыльев ослабли,
пересекая
вершину скорби,
мысли мои иссякли,
глаза слепы от боли,
бездеятельно виснут
руки по бокам,
а сердце, —
сердце что ж?
Все в синяках оно,
в ушибах го́ря.
Товарищи мои,

мои стихи,
дитя мое,
мое дитя
и молодость моя —
битюжным
стоптанным
копытом.
И будет
страшный суд
на поле брани.
Еще звенящий
благовест мечей
не смолк,
еще зеркалится
невысохшая кровь,
а судьям ставят
красный трон
в судилище народов.
О жизнь!
Как уберечь твое лицо,

что открывает мир?
Твой гордый лик,
железный взгляд
и беспощадный шаг?
В опорках стоптанных,
с мозольными руками,
с высоким лбом
и дерзкими глазами
идешь по полю брани —
без троп
и без дорог —
к высокой цели.

1942

* * *

Да присохнет язык к гортани
у отрицающих восточное
гостеприимство!
И жило много нас
в тылу,
в огромной Азии,
в горах.

Как и все,
мы пошли в кишлак —
обменять остатки вещей
на пищу.
И лежала пыль
на одеждах наших...
Но ничего
не сумели сменять мы.

Хозяин-старик пригласил нас
пройти и сесть.
Мы пыль отряхнули
и вымыли руки —
и сели за яства.
И глыбой мрамора лежало
в пиале солнечной
овечье молоко,
урюк и яблоки дышали,
орехи грецкие трещали,
лепешки пресные
разламывал хозяин в угощенье,
и пряно пахло
фруктами из сада
и медной утварью
осыпанной листвы.

Да присохнет язык к гортани
у отрицающих восточное
гостеприимство!

Вдали от родины

Сидела я на каменных
ступенях —
и олеандра
дугою изогнула стебель
на фоне грецкого ореха,
лист у которого
так пряно-вкусно пахнет.
Кругом цвели обильные
цветы.
Полутеней, оттенков и теней
здесь не имеют яркие венцы,
и день кончается
без тени,
и не суме́рничают здесь.

Тверской бульвар
в день зимний, снежный
стоит передо мной
у раскаленных гор,
средь выжженных песков
и глиняных ущелий, —
все белый снег
да и́скристый мороз.
Мне травы тонкие на стеклах,
взращенные морозом
изо льда,
приятнее для глаз
и сердцу ближе,
чем настоящие цветы
в тропических жара́х.

Ах! Север, север,
здесь пряно,
пыльно,
душно,

от пестроты и яркости
болят глаза,
и так тоскливо —
по большим снегам, —
хоть горсточку бы
русского снежку
с московских улиц
вьюга принесла.

* * *

Что ты ищешь,
мой стих,
преклоняя колени
у холмов погребальных?
Для чего эти листья осины
у тебя в домотканом
подоле лежат?

О поэт!
Это ж слезы,
и плачи,
и вопли
я собрал на могиле
у наших солдат.

Ты возьми их —
и сделай весну.
Слышишь, аисты
крыльями бьют
на семи голубых холмах?

На синем, синем краю —
гарбузо́вым цветком земли
раскрываются солнца лучи,
как оранжевый шар,
как тычина в лучах,
в желтых, тыквенных
лепестках.

Вскинешь к солнцу ладонь,
а в ладони — душа.
Нет,
не душа,
не весна,
а любовь!

Весна в Ташкенте

Вся неделя моя –
одержимое беспокойство.
Шебаршат на душе сверчки
и смычками цепляют
нервы мои.
И от их сучковатой игры
нет покоя в моей груди,
и хожу,
        и хожу,
                и хожу
по Ташкенту
в деревьях я...

Горный февраль

Ах! Какие здесь луны
стоят в вечерах
                    и в ночах
в конце февраля,
когда на склонах — снега,
когда воздух, как раздавленный плод,
по рукам,
по щекам,
по ресницам течет
ароматом весны,
прилипая к устам.
Ах!
  Какие
        голубые
              огни
                  от луны

освещают холм
и котловину, грязную днем;
при луне она – голубой цветок
с лепестками зубчатых гор.
В сердцевине цветка – домá,
золотые тычинки
огней-фонарей, –
и над всем тишина, небеса,
голубеют снега на горах.

Анне Ахматовой

А я встала нынче
на рассвете...
Глянула –
а дом попался в сети
из зеленых черенков и почек
и из тонких,
словно тина, веток.
Обошла я все дома в квартале –
город весь
в тенетах трепетал.
Спрашивала я прохожих –
где же пряхи,
что сплетали сети?
На меня глядели с удивленьем
и в ответ таращили глаза.

Вы скворцов
доверчивей все, люди!
Думаете, это листья?
Просто яблони
и просто груши?..

Вот проходит мимо
женщина
под рябью...
Голова седая,
а лицо как стебель,
а глаза как серый
тучегонный ветер...
– Здравствуйте, поэт, –
сказала я учтиво.

Жаловалась Анна:
– А я встала рано
и в окно увидела цветы...
А в моем стакане

розы с прошлых весен —
все не сохли розы.
Из друзей никто мне нынче
не принес весны.
Я сейчас с мальчишкой
здесь, на тротуаре,
из-за ветки вишни
чуть не подралась.
Все равно всю ветку
оборвет мальчишка...

И проходит дальше.
Голова седая,
а лицо как стебель,
а глаза как серый
тучегонный ветер.
И ложатся под ноги ей тени
облачками...
Львами...
С гривами цветов...

В котловине хребта Алатау

Стихотворение, возникшее от роз, неба и весны

Жил-был Саваоф на свете.
Люди его называют — Бог,
а по-моему, он —
прадед поэтов.
Был огромен, как небо, Бог,
и седина покрывала
виски и затылок его.
Реки соков
текли по мускулам рук и ног
и впадали голубыми руслами
в стволовидную шею его,
поднимая лицо,
как прозрачную гроздь.

В обширном молчании
шел по светилам поэт,
а сбоку земля моя —
над сугробами белого камня
тихо несла голубеющий свет,
лезвием горных вершин
отсекая утро и ночь.
Желтые ветви зорь
падали, золотом расписав
камни в дымчатых вечерах.
И ошеломленный поэт,
брови вверх приподняв углом,
встал поперек пути
и, планету схватив за хребет,
положил ее между ног
и сел.
И камень,
что может другие камни строгать,
нашел среди гор поэт
и, отломив от хребта кусок,
сделал крупный резец себе.

И землю вертел в руках,
от видения нем
и богатством матери горд.
И долго сидел
над землей Саваоф,
высекая замысел свой.
А когда он руки свои
отделил от работ,
положив у ступни отупелый резец,
и встал —
тончайшей розой
из мраморных гор
лежала земля...

Так вот — без тревог и сомнений —
идет по земле
человеческий гений...

1944

Чеснок

Очень вкусен
горный чеснок
                  в мае.
И я пошла за ним
                  в горы.
На склонах лежали
знаменами маки.
Навстречу бежали
широколунные киргизята
с охапками красных тюльпанов.
Шли чинно,
рукой подперев на плечах
                  горизонты,
за водой к роднику
молодые киргизки.

Из-под шелковых шалей
на длинные косы
сыпали блики
пунцовые маки.
А на самой высокой вершине,
над смертью и жизнью,
стоял длинноухий,
стоял черноокий
осел,
упираясь
копытцами в камни.
И мне стало забавно.
Обычно душа моя
в тяжелое время
старалась забраться
поглубже в путь сердца
и тихо сидеть там.
Но животное было
так тонко
очерчено умной природой,
так мудро

водило ушами
на фоне огромного
синего неба,
а чеснок
так едуч
и так сладок,
что миг этот чудный
осветил мои мысли
и мозг мой,
и все стало просто...

1944

Осень у снеговых вершин

Каждый день,
возвращаясь с обедом,
я мимо горы прохожу.
Удивляет она меня.
На вершине ее кишлак –
и ни заборов,
ни стен,
ни оград
вокруг его жилищ не стоит –
ни единого дерева нет,
ни куста,
и со всех горизонтов
дуют ветры, –
дрогнут на небе
серые тучи

и, лапы раскинув,
и пасти разинув,
и выгнув пластами
звериную спину,
рушатся с неба
на склоны горы́,
кибитки киргизов
сглотнув на пути.
И когда на вершине хмарь —
в котловине у нас
                    дождь,
или гроза,
            или слякотно сеет
                        крупа...
И думаю я:
как же выдержала высь?

* * *

К моим дверям
спускался склон горы,
весь бурый
и колючий.
И тонкая ослиная дорога
из белой пыли
устремилась ввысь, —
то пряталась в тени,
то поднималась вновь,
лиловая от сени облаков...
Два башмака
стоят у нашего порога —
прекраснейшие из башмаков
людских, —

пожалуй, больше б им пристало
названье: корабли, —
так велики обширные носки,
и задники прочны,
и расстоянье меж бортами
просторно и удобно для ноги,
и шерсть козлиная легла
на стельки.
И я сама в нехоженых краях
шла, не боясь,
за кожаными башмаками:
великолепно в них шагал тогда
мой милый друг.

О, мой возлюбленный
из молодости нашей!
И множество земель
мы вместе исходили,
и разные мы слышали
языки́,

и горе видели,
и победили горе,
и утренние радостные страны
ложились в красках на мои листы.

Мальчик

Сандал –
это так просто:
посредине кибитки яма,
и над ямою низенький столик,
он покрыт сдеялом,
похожим на тюльпанное поле.
В яму углей горячих насыпают,
под одеялом протянут ноги
и сидят вокруг теплыни люди,
от работы дневной отдыхая.
А на стенах висят тарелки,
ярче неба в тарелках звезды,
и красивей луны пиалы
на уступчивых нишах стоят.

И синее морей одеяла,
и желтее пустынь одеяла,
разноцветней лугов одеяла
друг на друге лежат.
Но чудесней всего на свете
в глинобитной кибитке киргиза
баранчук —
годовалый мальчик;
он в пухлом халате на вате,
азиатским платком подпоясан.
Перламутровых пуговок ряд
на спине у халата звездится,
и ястреба легкие перья
в тюбетейке пучком стоят.
Как огонь,
он древнее древних,
он киргизов гордый наследник,
он родитель людей нерожденных,
годовалый сидит у бабая,
и глазищи в косых разрезах

обливают потоком счастья
мир и солнце,
себя и свет.

Археолог

Подошвы гор погружены
в тенисто-пышные сады.
В спортивной клетчатой рубахе
на камне юноша сидит.
Лежат лопаты перед ним
и черепки от выветренных царств.
А он на камне все сидит
и все забытые стихи
на древне-алом языке
задумчиво поет.

Письмо неотправленное

Где же ты?
Сколько писем
писать еще?
И ответа, как благовеста,
ждать.
Ждать от тебя ответа?
Если бы сто рук
имела я,
все бы травы
я перебрала,
сосчитала бы пыль земли,
увидела бы очи твои.
Но, может, ты
не в траве лежишь?

Иль беркут склевал
глаза твои
и синицы кудри
с твоей головы
на гнезда птенцам унесли?
Нет!
Это думы мои
черные по ночам.
Не коснется секира тебя,
не испепелит чужой огонь,
чернорукий фашист
не подымет ладонь
в золотое лицо твое!
Да охранит тебя от врага
большая любовь моя!
Дождь барабанит по крыше,
темная ночь за окном,
и опять пауками мысли
выползают из темных углов.
Господи,
был бы хоть ты!

Думы свои
я сожму в кулаки,
вырасту до небес.
И в величии слез пред людьми
свитки горя расстелю:
читайте, люди,
сердце мое —
зеркало ваших бед!
За окном редеет рассвет,
на гудок шахтеры идут.
Надо мне на смену идти.
Встаю.

Из тетради 1944–1946 годов

Русские

. . . .

Богато прекрасны мы, —
в глазах у нас
горизонты лежат,
полуприкрытые тучами век, —
и восходит в белке́ небес
из-за леса ресниц
солнцевидное око наше,
идол наш —
наш собственный глаз
с вечной прорубью
в мысль.
Сердцепоклонники мы
с челом Памировых плоскостей.

Северный вокзал

Я приходила вечерами
с вокзала
к северным перронам
и, как сограждане мои,
в высоких залах
поезда ждала.
Я у стены стою:
напротив толпы
слушающих пенье,
как эти залы, мы
с неповторимой росписью
единого двадцатилетия.
Но солнечность картин
под копотью трагедий,

и на одеждах зальных,
как на пальто у нас,
фанерные заплаты на стенах.
Бледное лицо
и в серых кольцах глаза,
а бас Шаляпина
из воздуха воздвиг
звучанье давних битв.
И щит славян
на цареградском камне
рукою русского прибит,
и толпы слушают,
пред звуком чувства обнажив.
А я,
как нищая
пред собором вниманий,
за подаянием сердца
протягиваю ладони.

* * *

Лежат намятыми плодами
снега февральские у ног.
Колоть дрова
привыкла я:
топор блестящий занесешь
над гулким белым чурбаком,
на пень поставленным ребром,
    удар! —
и звук как от струны.
Звенит топор о чурбаки,
и, как литые чугуны,
звенят поленья, и мороз,
    и мой топор,
    и взмах,
    и вздох.

Лежат намятыми плодами
снега февральские у ног,
и утро с синими следами
по небу облаком плывет.

1946

День

С утра я целый день стирала,
а в полдень вышла за порог
к колодцу за водой.
От долгого стояния внаклон
чуть-чуть покалывало поясницу,
и руки от движенья вдоль
ломило от ладоней до плеча.

А в улице лежала тишина,
такая тишина,
что звук слетающих снежинок
был слышен гаммой,
как будто неумелою рукою
проигрывает малое дитя:
слетают *до* и *ля*
и звездочками покрывают землю.



Напротив домики
в снегурочных снегах стояли,
и опадающие листья
казалися
как полушубки в заячьих мехах.
И ягоды краснеющей рябины
одел в чепцы холстиновые
иней.

В средине улицы
косматая собака
валялась на снегу,
уставив в небо нос.

Я цепь к ведру
веревкой привязала
и стала медленно
спускать валек.

И надо всем стояла тишина.

1946

Лопата

Лопата я,
и тем горда,
и мой хозяин горд.
Я полпланеты на зубок
в труде перебрала.

Меня венцами не прельстишь –
венцы у королей,
а я копаю у корней,
что кормят всяких королей...

А я копала в старину,
копаю и сейчас.
И буду почву рассекать,
куда народ свергает знать,

когда наступит на мозоль
неповоротливый король.

Лопата я,
и тем горда,
и мой хозяин горд.
Я полпланеты на зубок
в труде перебрала.

О! Знаю я и что, и как,
на чем лежит земля.
Но лучше всех
идти домой
с хозяином вдвоем:
я на плече его лежу.

———

Конец дня

Между двух гор
ставили дом машины.
Стояли женщины
на строящихся стенах,
и клали кирпичи,
и возвышали цех.

Склонялся час к шести,
и медленно кирпичный брус
сошел с ладони,
движением затихающим
оканчивался день.

И ослабели сухожилья,
натянутые в локтевых изгибах,

звенящие от поднимания бревен,
от напряженья сдвинутых вещей...

И отделились руки от труда,
и матерьялы стали по местам,
и принял звук работ
обличие предметов.

1947

* * *

Мятежность дум
проходит от березовых листьев,
что потеряли почку в середине мая.
От очертания ветвей,
струящихся с коричневых сучков,
        как тонкие дожди.
И с мысли пыль стирают
        хрупкие цветы,
что вновь из трубочек
выходят в прошлогодних хвоях...

1947

* * *

Стоит на печи горшок.
Пчелиный тает воск в горшке
для смазывания воском ран
    на грушевых стволах,
    и яблонях,
    и вишнях.
А у печи сидит солдат...
Еще пыль не сошла с сапог,
еще пот не обсох с дорог,
и шинель от спины до полы
пахнет порохом от войны,
и глядит из его зрачков
боль разбомбленных
                    городов.

Лежит лучина на столе,
пучки кудельки —
на ведре.
Он на лучину вьет пучки,
приготовляя помазки.

Он мог бы молотами бить,
железо сверлами сверлить,
но две ноги,
одна рука —
и опечалена судьба.
И отворачивает взгляд
от бабьей утвари солдат.
Солдат встает
и, дверь раскрыв,
садится на порог.

Лежат колхозные поля
в прозрачности пространств
весенних —

и величавы и спокойны,
как мысль огромного народа
в очарованье мастерства.
Еще поля не засевали,
еще сады не зацветали,
еще на вспаханной земле,
как струны, борозды лежали,
и ветер пашни задевал,
и звук от пашни отлетал.

Солдат в безмолвии сидел,
на родину свою глядел.
Глядел на родину солдат –
и от огромной красоты
солдат душою потеплел.
Трава шуршала у сапог:
«Солдат с войны вернулся жив!»
И ветки вторили берез:
«Пришел здоров!
Пришел здоров!»

Сучок сучку передавал:
«Врага изгнал!
Врага изгнал!»
И шелестел поток вершин:
«Он мир принес!
Он мир принес!»
И, с воском взяв горшок, пошел
залечивать он раны на стволах —
на грушевых стволах
и на вишневых тоже.

* * *

Глядите, люди, —
девка пред солдатом
средь бела дня,
насмешек не стыдясь,
стоит в тени розовых акаций
и стриженую голову его
все гладит, гладит
легкою рукой...

Вокзал

Мешки, отсвечивая ткацкою основой,
наполненные девичьим приданым,
накопленным на торфоразработках,
лежат, как идолы,
у мраморных скамеек,
чуть приоткрыв оранжевые рты,
на скамьях тихо, рядом,
одетые в стеженые пальтушки,
мордовки юные сидят...
И солдат
в ожидании своего эшелона
какую-то до слез знакомую мелодию,
прижав баян к груди,
выводит медленно в тиши.

И сидит, как каменная баба
посреди заката на холме,
большелицая,
прямоспинная,
с балалайкой в каменной руке,
средних лет мордовка на мешке.
И, следя глазами за баяном,
шевелит губами в такт она.
Под рукою тоненькие струны
вторят
вдохновению солдата...

Джамбул

Ночь над Москвой
прозрачной вышиной
легла на белые столбы
прожекторов...

Звенит булыжник под подковой.
Наездник древний и суровый
из-за высокого угла
на площадь выезжает шагом,
и у седла висит домбра.
Косясь черничными зрачками
на незнакомые места,
конь, звонко по камням ступая,
несет по площади певца.

Синеют ели у Кремля,
и тень с квадратными зубцами
откинула Кремлевская стена.
Углами рассекая ночь,
навстречу путнику встает
багряный мавзолей.
И сходит Джамбул с коня,
и зеленой степью халат
спадает с сутулой спины
и свисает узорной полой
с плеч до каменных плит.
Тиха на площади земля,
и звезды на небе молчат,
и только шепотом шуршат шаги...

Старик вздохнул и сел,
ссутулясь, на уступ...

«Ну, вот и я пришел к тебе.
Как я спешил увидеться с тобой!

Но разве смерть опередишь?
Был молод я,
когда седлал коня
и о пути расспрашивал людей.
Но по дороге отняла
                                        судьба
и силу плеч,
и черноту бровей.
И вот перед тобой стоит
поэт седой,
как вечные снега...
Еще вчера я вечером
был раб,
был гол и нищ Джамбул,
и старость кралась по пятам.
Но светлый день
                        передо мной
                                        предстал,
и снова сердце и глаза мои
вечерней юности полны,

и в предвечерний нежный час
с высот на землю
приплывает солнце,
я старческой рукой его, пожалуй,
могу еще, как внука, приласкать...»

Слепой

По тротуару идет слепой,
а кругом – деревья в цвету.
Рукой ощущает он
форму резных ветвей.
Вот акации мелкий лист,
у каштана литая зыбь.
И цветы, как иголки звезд,
касаются рук его.
Тише, строчки мои,
не шумите в стихах:
человек постигает лицо вещей.
Если очи взяла война –
ладони глядят его,
десять зрачков на пальцах его,
и огромный мир впереди.

Про мороз

А ночью север в бревна дул.
Лицо скуластое надув,
в свистульку губы подтянув,
дудил в чердачных желобах,
шуршал под окнами в снегах,
колыша блики на стенах,
метелью снов
колебля мой покой.
А утром я,
открыв глаза,
вздохнула в синий полумрак
и увидала —
изо рта
птенцы пуховые летят,
и, отдалясь от уст,

они тончали в оперении
и, не откидывая тени,
тонули медленно в углах.

И, вынув руки из одежд,
я пальцем тронула рассвет
и стужей руку обожгла...

1947

* * *

И когда я от долгой дороги
присела на камень,
положив на пенек
карандаш и бумагу,
я увидела город фиалок.

Вздымали стебли, словно сваи,
над мхом резные терема
с одним окошком посредине,
и ярко-желтая кайма
легла лучом вокруг окна,
на фиолетовых стенах
стелясь округлыми коврами...

1947

* * *

Сидят вороны на пеньке:
коробочками мака
на дымчатых зобах
две серых головы
таинственно шуршат,
таращится в оранжевых кругах
вороний глаз —
вороньи тайны в нем лежат.
И заглянула я в зрачки,
и вдруг — очки
взглянули на меня,
седые волосы в кружок
и отложной воротничок.

1947

Московские сумерки

Дымились сумерки
в карнизах,
и незасвеченные луны,
чуть голубея,
колебались
на электрических столбах.
Теплом асфальт
отягощенный
подошвы ног подогревал,
а по бокам
дома стояли —
сплошным хребтом
без окон и дверей, —
еще огней не зажигали.

И в получас
сближения теней
вершины улицы моей
откинули на землю
полутени,
освобождая очертанья
гигантских крыш
и труб
и купола церквей.

И проникало небо
в бойницы и бреши,
и обводило синью
башни и шпили,
вычерчивая дерзость человечью,
возвышенную в зданиях
до неба.
И каждого надежда осеняла.

1947

Закончен день работ

Мой умный друг –
железный экскаватор –
чуть-чуть устал,
для моря расчищая дно, –
он шею вытянул
к багряному закату
и, челюсти раскрыв, зевнул...
Я паклей вытер кулаки
и зашагал домой
через пески.
И, словно ломоть сочной дыни,
повисла желтая луна
над экскаватором в пустыне.

Библиотека имени Ленина. Старое здание

Век девятнадцатый
на каменном фасаде
запечатлел изящество души,
застенчивой улыбкой осветив
цветов неувядающий изгиб,
колонн граненые черты
и лавров мраморных листы;
весь дом стоит —
                    на вздыбленном холме.

Мое пальто

Мое пальто!
Все собираюсь я
твой внешний вид
прославить перед миром
в наш многотрудный,
многодумный век.
Но не к лицу теперь
стихами облачаться, —
все о куске,
о хлебе
думают народы.
Душа и Бог
преобразованы в желудок, —
что в нас лежит
и требует почтенья.

Мое пальто!
Твои седые петли,
и воротник, в морщинах от тревог,
и плечи, сникшие
от тяжкого раздумья, —
все горести мои
с тобой, мое пальто.
Мы оба так нелепы
и смешны
среди желудочных молитв
и баснопений,
и больно мне слепое отношенье
к твоим полам,
к твоим локтям,
мое пальто.

* * *

Не пропускай, читатель,
мимо глаз
людей, чей рысий взгляд
меж лиц, покоем осененных,
вдруг промелькнет, —
как острие клыка.

* * *

Сгущались сумерки в садах,
и небо,
синее, как папиросная бумага,
натянутое на обруч горизонта,
на яблоневый снежный цвет
бросало тень...

Ах, эти яблони в цвету
у белых хат...
Их ветви в лепестках
напоминают мне Урал,
засыпанный сугробами,
увязнувший в снегах.

Да, был вечер.
Без слов, без звуков.

Лежала дума на челе
спокойной тишины.
О чем?

Не надо слов.
Имей большое сердце,
и ты поймешь величие полей,
величие земли.

Косились в сторону
из окон огоньки,
и в их лучах,
как слезы ребятишек,
роняли ветви наземь
свои вишневые цветы.

1935–1952

Песенка

Посмотрите-ка в окошко:
лошадь с белою звездой,
с черной гривой под дугой
на базар везет картошку
по колхозной мостовой.

От веселья словно роза,
вся от воздуха пышна,
возвышалась над конями
бригадирша из колхоза.
И, крутя над головою
конопляною вожжой,
взор бросает соколиный
вдоль по улице рябинной.

Сам колхозный председатель
бригадирше на базар
эту лошадь запрягал.
Сам ворота открывал.

И проехала телега,
восхищенье оставляя, —
переглядывались бабы,
вслед телеге улыбались.

У базара над садами
песни в воздухе играли,
и рябиновые листья
тихо под ноги слетали.

1952


ГН

* * *

Жизнь ты, моя жизнь,
все состариться норовишь,
погодила бы сечь лицо,
погулять бы еще в молодых...

Поглядишь на лицо,
а в лице существо —
светом и солнцем,
как день, полно.
И алые соки
из недр земных
по зеленым стеблям
текут в цветы.
Ты мне, мой талант, помоги,
как весну в сорок лет удержать.

Жизнь ты, моя жизнь,
все состариться норовишь,
погодила бы сечь лицо,
погулять бы еще в молодых...

Поглядишь на лицо,
а в лице существо —
светом и солнцем,
как день, полно.
И алые соки
из недр земных
по зеленым стеблям
текут в цветы.
Ты мне, талант, помоги,
как весну в сорок лет найти.

* * *

О лес!
Опять я у твоих корней.
Склонясь,
разглядываю травы.
И без раздумья —
все оставив —
иду по тропам
средь весны,
и ощущения мои
повисли надо мной шатрами
зелено-пепельной листвы...

* * *

Под вечер солнце соками земными
из рек дымящихся
и радужных озер
досыта напилось,
и, бражности не выдержав земной,
оно шатнулось раз, другой
и село, вытянув лучи,
на край приятнейшей земли.

Дневное кино в будни

Перед началом сеанса —
играли скрипки.
И абажуры на блестящих ножках
алели изнутри,
как горные тюльпаны.
Старушки чопорно
под абажурами сидели
и кушали халву
по дедовской старинке —
чуть отодвинув пальчик от руки,
и на груди у них желтели кружева
и бантики из лент,
что отмерцали на земле.



А девушки без рюшей и без кружев,
лишь с ободками
нежных крепдешинов
вкруг смуглых шей,
чуть набок голову склонив
и глаз кокетливо скосив,
мороженое
в вафельных стаканах
откусывали крупными кусками
и, не жуя, глотали льдистые куски.
А скрипки все тихонечко играли,
и люди молча отдыхали,
и красные тюльпаны зажигали
по залу
венчики огней,
и толстый кот
ходил между рядами,
поставив знаком восклицанья
пышный хвост.

1954

Аука

Посвящается Сергию Радонежскому

Этот тихий пустынник
и деревянных мастер игрушек
улыбается ласково
сухоньким ртом.
Я пишу —
он стоит у стола моего.
А глаза, как ромашки,
в белесых ресницах,
и седые косицы,
и подрясник на нем холстяной.
Как тебя усадить мне,
начинатель игрушек, —
про тебя я читала
в замшелых архивах,

как меж Богом и троном
ты служил бескорыстно Руси,
как учил хлебопашцев простых
деревянные резать игрушки.
    И еще я слыхала,
    как из дерева липы
    для малого сына
    деревянную куклу баба точила
                        впервые на Руси.
Кукла вышла лицом, как лучи,
                        хороша,
нарекли ее именем Аука.
Пять столетий от куклы
                        Ауки прошло.
И рассыпались в прах цари,
и законы твои в пыли.
    А игрушки-то вот живут,
    и Аука в руках у ребят
    получила бессмертие души.

* * *

И жгучие стволы берез,
похожие на стержни молний,
вонзались разветвленно в небо,
и в землю тоже разветвленье шло.

Сирень

Встретила я куст сирени в саду.
Как угодно он рос из земли,
простодушно раскинув листы.
И, как голых детей,
поднимал он цветы,
обнажений
своих
не стыдясь.
В чем же, думала я,
сила этих кружков,
по ребячьим рисункам
рожденных землей,
и наивных соцветий,
и смешных лепестков?

Почему мудрецов,
пастушат и поэтов
так волнуют
на палочках крестики эти?
Многое люди
постигли на свете,
и умеют многое делать они.
Но нет силы у нас
передать лик цветка.
И мы молча стоим,
и глядим,
и ворочаем думы свои.

Судьба

Люди рождаются —
и идут по нехоженой
целине,
каждый среди судеб
прорубает дорогу себе, —
и двое рождаются тоже,
а между ними море лежит,
иль стена пролегла,
иль город —
этаж на этаж стоит;
а эти не знают друг друга, —
каждый в своей тропе
идет дорогами мира,
не ведая о судьбе.

И вдруг — поворот,
и город,
и море,
и степь в стороне, —
две дороги на повороте
пролегли в одной колее.
И встретились двое вместе,
и легче обоим дышать,
и легче дорогу к счастью
средь множества троп искать.
Иль просто вечером тихим
в теплой сиреневой мгле
сидеть где-нибудь на дороге
и руку держать в руке.

На закате

Я сидела ниже травы,
тише листвы.
А выше моей головы
цвели на грядах цветы.
И лиловые залы видела я
и оранжевое убранство их.

Цветочный паломник —
косматый шмель —
в дом голубой
на зеленом стебле,
не стуча, не спрося, влетел.
А в зале чаши
нет никого,
и тычинки стволов пусты,

и лапы шмелю ни к чему
без желтых следов пыльцы.
И незваный гость
зажужжал в усы
и вылетел вон, сердясь.

А в синем небе гасла заря,
и в цветах закрывался вход...

* * *

Я вынимаю ближе к свету
очищенное от кожуры,
еще дымящее соками
лицо второе из души,
а ранее Музою звалось.

Ликующее состоянье —
одна средь улицы стоишь,
и каждое из встречных лиц
как неоткрытая планета
средь звездных глаз,
сердечность приоткрыв.

Ночное

На земле,
как на старенькой крыше,
сложив темные крылья,
стояла лунная ночь.

Где-то скрипка тонко,
как биение крови,
без слов улетала с земли.
И падали в траву
со стуком яблоки.
И резко
вскрикивали
птицы в полусне.

Утро

Я завершила мысль,
вместив ее в три слова.
Слова, как лепестки
общипанных ромашек,
еще трепещут на столе.
Довольная,
                    я вытерла перо
и голову от строк приподняла.
В подвал упали из окна
концы лучей
от утреннего солнца...

О себе

Угодно было солнцу
и земле —
из желтых листьев
и росы
сверчка, поющего стихом,
на свет произвести.

Круг

Ставили новый дом:
рыл экскаватор землю;
что в ней —
в машине,
ясно все:
по миллиметрам собраны детали,
и пониманья нет —
бесчувственность одна.
Но почему толпа,
забыв летящие дела,
стоит, очарованием томима?
И отчего?
Он кажется животным
чудным

со множеством частей
от множества собратов —
бока и брюхо от слона,
жирафья с перекрестом шея,
с зубастой пастью бегемота,
ковшеобразная глава.
А может, нет машины перед нами?
А может, это кровь,
что движет и людьми
и сотворенью разума
очеловеченье дает?

Хлеб

Не бросай на пол
хлебные крошки,
не топчи ногами,
пищу людскую, –
уважай ломоть
всякого хлеба, –
хлебом жив
на земле человек.
И не надо нам, людям, к хлебу
относиться презрительно, чванно:
ни к простому, ни к просяному,
ни к пшеничному, ни к ржаному.

Изба

В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красной душой —
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печкой
и на печке
сказки милые таить.

Сказка о коте и еже

И жил на свете
дымный кот.
Он мог бы быть красив и толст,
но гребни крыш
и взлеты труб
под звезды сочные влекут, —
и ожиревшему уюту
кот предпочел
ночную мглу.
Гулял по острию карнизов,
вздымая гордо
пышный хвост.
Пушистый встретив силуэт,
бросал воинственный привет.



Потом садился на трубу
и молча созерцал луну.

А рядом с печкой —
на полу —
был пойман в ящик
серый еж...
И ящик он копал вначале,
как почву прошлогодних хвой.
Не пахли доски
корневищем сосен,
и влажность не сочил
фанерный дерн.
Ведь землю еж,
в которой рос,
всю по крупинке перебрал,
всю по травинке перемял,
он лист к листу перелистал
и полон был своих забот,
своих тревог,

своих работ.
И, чуя под когтями сухость,
еж о земле затосковал.

Стояла осень на дворе,
и не было луны.
Тоскливо кот
под креслами сидел.
Мурлыкать он уже не мог —
все тот же ритм
и тот же слог.
И был печально одинок
в дождливый вечер
серый кот.
А кто-то в ящике
шуршал,
а кто-то в ящике вздыхал,
потом тихонечко сопел,
и звук нечаянный смолкал,
и пахло в ящике жильем.

И вот в коте
очнулся кот
лесных взъерошенных времен.
Обнюхал ящик он кругом
и лапу в ящик протянул...
. . . .
Но ощущение кота
и отношение ежа
не в силах здесь я перевесть
на человеческую речь.

А после встречи
день за днем,
из странствий ночи возвратясь,
взбирался кот
на дружеский настил
и тут лежал
                    или дремал.
А кто-то в ящике шуршал,
а кто-то в ящике вздыхал,

потом тихонечко сопел,
и звук нечаянный смолкал.

И понимал, наверно, кот,
что на земле не одинок.

Сказка о воде

О! Этот странный источник
между двух гор
с бараньими лбами!..
Под нависшими камнями колодца
сидят желтые тюльпаны
и косятся на меня
черными, колючими зрачками,
высматривая мои следы.

Распустив за плечи
сумерки кос,
к роднику за водой подошла
в красном платье киргизка
и, наполнив кувшин,
ушла...

И запахло тончайшей свежестью
цветущих миндальных деревьев,
и от гор отделились тени
с голубыми лицами
из воздушных волн.

И тогда,
капли стряхнув
от струи родниковой,
у колодца женщина явилась вновь,
в белом вся,
и над бледным лбом большая чалма,
полумесяцы глаз под чалмой.

Женщина вынула
из колодца воду
и свернула ее,
как блестящий с коконов шелк;
подходящий взяла сучок
и к нему подвязала ручей, как куделю,

и, воткнув в расселину скал,
села прясть у колодца воду.

— Ты кто? —
крикнула я,
пятясь за камень. —
Разве воду прядут?!

— Я спряду и совью в жгуты
воду всю из моего колодца,
и не высохнут струи в жару,
не расплещутся капли по ветру.
Я желания в нити вплету:
я хочу, чтоб
гроздья винограда,
словно солнце, соками светились,
я хочу,
чтоб яблоки смеялись,
чтобы сны о звездах
снились людям,

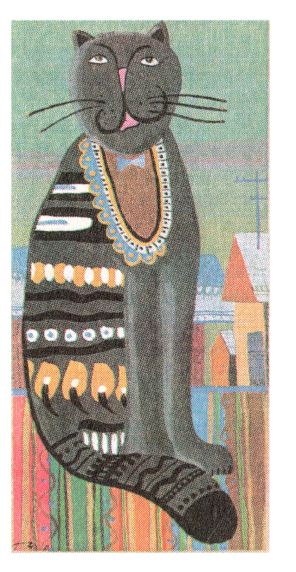
чтобы земля жила веселее
и чтоб мысли горели ярко
и дела великие вершились!..

О! Этот тихий источник
между двух гор
с бараньими лбами!

Сказка

Вы, читатель, право, не стесняйтесь,
чувствуйте себя как дома.
С вашей стороны чудесно,
что в такой метельный вечер
навестить зашли
угрюмого поэта.
Проходите и садитесь к печке.
А чтоб вой трубы
не беспокоил сердце,
я вам сказку расскажу сейчас.

Вот на нашем белом свете
жил-был Вечер с бородою,
в вязаном жилете.



Только как погаснет свет,
так встает с земли седой
одноглазый дед.
А другого глаза — нет.
Этот глаз, как медный таз,
висит на небе один —
называется луной.
Вот такой
знакомый мой!
Раз мы с Вечером вдвоем
поздно по лесу идем.
Видим — дом.
Говорит мне Вечер тихо:
— В большеглазом этом
доме
все писатели живут.
Сказки леса стерегут.
Как поймают —
так и в книжку,
и в обложку на задвижку!
Сказка в клетке тут как тут,

спрячут, в город увезут,
в магазине продадут. —
И мы с Вечером в печали
головами покачали.
Не сказали мы и слова —
перед нами Сказка снова
очутилась в зипуне
на зеленом пне.
Ну, так вот:
все мы трое —
я да Сказка,
синий Вечер с бородою —
расспросили у Ворот
тайную дорогу,
к Мишке чай пить все пошли
в теплую берлогу.
Оглянулась я назад —
все писатели сидят.
К Сказке тянутся руками
и капканами стучат.

Леший

Еще петух не прокричал
три раза, —
не отделились
твердь от вод
и тьма от дня,
и из сумерек сотворился лес;
а он явился
сам по себе
и поселился в дреме.
А зеленые чары стоят
на круглых, рыжих стволах;
и хвойное утро
шипит в ветвях, —
налив до вершин сосняк
желтой пчелиной брагой.

Лицо его
напоминало треугольник, —
заостренным углом
опущенный к полям.
По голубым зрачкам
рассыпан блеск слюды.
Острохребтовый нос,
и рот как виноградный стебель,
и усеченное чело
венчали огненною рыжью
густые кольца
кованых волос.
Леший долго стоял
на правой ноге,
опираясь копытом в рельс,
и, уставив рога в горизонт,
подцепил на рога,
как медный горшок,
солнце с варевом зорь.
И умолкла трава,
и поникли цветы,

не тревожа мысли его.
Склоняясь, ощупывает путь:
«Зачем ты здесь,
в моем трепещущем владенье,
тревожишь разум мой
недвижностью холодной?
О, я предвижу умирание,
тоскующих семян неувядание,
посеянных для жизни мной.
Когда хозяин твой,
тобой презренный раб,
мир опояшет наш?
Кто он?!
Хотел бы видеть
лик его
и выпуклости лба,
чтоб мысль его узреть.
И очертанья губ,
чтоб чувственность
познанья ощутить.

Мне нужно бег
его остановить,
чтоб заглянуть в глаза.
О мой
зеленый шелестящий дом!
Зачем молчишь,
сердечный трепет крон
упрятав в древесину?
А может, сам я
сердцем скуден стал
и уронил сияние листа.
Лежат стальные
жерди здесь,
как мост, поставленный
от разума к цветам.
Пройдет ли кто?»
Но ухала земля
под роговым копытом.
Путь загудел,
и задрожала сталь.

Утес его еще скрывал,
и только звук
тяжелый, как обух,
ударом воздух колебал.
Метая искры и огонь,
летит по рельсам на колесах
обтянутый железною пластиной
гигантский череп лошадиный.
И нет у черепа лица,
и нет у черепа чела.
И негде думам уместиться.
Лишь очи,
очи черепные,
огромным светом зажжены.
И в сочленениях хвоста
мелькают облики людские,
да сбоку в голове стоит
сам человек
и движет круги роковые...
Но где же он —
начальник трав,

хозяин леса и болота?
Промчался поезд на колесах,
и серый камень
встал у шпал.
И слезы синие из камня
текли, как струи родника,
и падали на землю, образуя
из незабудок
вечные венцы...

Огни

Горностаевый вечер –
он накинул на серые плечи
снежную шкуру
с хвостами снежинок...
Все как в детстве.
Но я уже не буду
от стекол отцарапывать льдинок
и, калачиком ноги, сидеть на окне,
нос расплюснув в стекло.
За спиной в темноте
тени виснут в углах,
и, как Баба Яга,
надо мною топорщится страх.
Из сугробов ползет тишина,
заползает в трубу,

и из печки глядит в темноту на меня
слепая ее башка.

Ровно в девять с шахт гудели гудки,
из-за белых готических елей
появилися черные тени,
и в сугробах играли в догонки
золотые от ламп огоньки.
Да, огни...
Вот уже мне двадцать три!
И девчонка, и мысли ее
убежали назад...
А огни, как и прежде,
каждый вечер горят и горят...

Разговор со столом

Мой стол,
мой нежный
деревянный друг,
все ты молчишь,
из года в год стоишь
в таинственном углу.
О чем молчишь?
Чьих рук тепло ты бережешь?
Раскрой дарохраненье лет!

Молчание плывет в ответ.
Лишь черт резной
на выгнутой ноге стола
скрипит:

— Ах, сердце человечье
так беспечно.
Вещь не доверит
таинства ему.
Предмета суть
есть совершенство мозга.
А сердце —
сердце, что ж — цветок,
само взойдет,
само цветет,
само завянет и уйдет.
А вещь без старости жива
и без младенчества ясна.
И не расспрашивай стола,
коль ты поэт...

Белые розы
увяли в стаканах,
лунные блики
лежат на столе.

И я, рукою касаясь резьбы,
говорю:
«Мой стол,
мой мудрый друг,
прости, пожалуйста, меня!»

Моя комната

Куда-то всё плывут, плывут
продольные дожди
перед окном моим.
А на столе — цветы,
как млечные созвездья,
да стул один,
да рукопись в углу —
мои стихи
иль я сама —
одно и то же, —
только форма разная.
И все,
и больше ничего,
да сор еще
цветочный на полу.

Платье

Мне подарили
бархатное платье.
А раньше
два только платья
было у меня:
льняного полотна
и шерстяное.
Мне подарили бархатное платье.
Я тут же
и примерила его,
и в зеркало увидела себя.
Средь отраженного окна
гранитный высился дворец,
пушистый звук
серебряных снегов,

в замерзших окнах
люстры тлели,
росли березы у стены.
И чудно было сочетанье:
я в платье бархатном,
дворец
и белый снег
в ветвях и на земле.
Такой казалась я себе
нарядной!
И с этим чувством
шла я
по Москве.
И все идущие
навстречу мне
несли на обновленных лицах
светинку радости моей.
И что-то мне
хотелось людям дать —
добро ли совершить
иль написать стихи.

* * *

Есть третий глаз —
всевидящее око, —
им скульптор награжден,
художник и поэт:
он ловит то,
что прячется за свет
и в тайниках живет,
не названное словом...

О художнике

Р. Ф.

Сколько рождений
дано человеку,
а сколько прожито лет!
Каждый год
рождается вновь —
из весны,
из травы,
из небес — человек.
И нет насыщения жизнью,
и, хоть сто раз
на земле живи,
утоления нет рукам,
наглядения нет глазам.

В Замоскворечье живет
живописец.
Роскошнейшие убранства
от купола
до половиц
неостывающими светилами
мерцают из тихих рам.
А в комнате нет ковра,
сосновый в комнате пол,
и стул один,
и кресло одно,
и железная печка
в своем уголке
как вздохнет,
и падает оранжевый цветок
из золотистой гортани
на пол,
на вещи темные
роняя лепестки,
и оттадки бытия

стоят, прислонясь к стене, —
рисунком внутрь
и холстом на свет.
Люблю в пристанище я это заходить,
под крышей этой
забываю я
и горести, и странности мои.
Сходились юноши сюда
с неуспокоенной душою,
седые женщины
с девичьими глазами
и убеленные снегами
художники,
постигшие и страны и моря.
Но жизнь, как в молодости
                                        тайной,
вся нераскрытием полна.
Вот Азия стоит на полотне:
день пройденный
                        и заключенный в раму.

А поперек небес
коричневый, безлиственный
сучок
и белые цветы
на узловатых сгибах.
И всюду тишина,
и синева,
и воздуха стеклянные отливы.
И все — от неба до земли
и от людей до птиц, —
все жить и жить
для голубых глубин,
для взлета дум
в нетленные теченья.
Картину унесли.
Но веянье весны
еще касалось лиц.
В Замоскворечье живет
живописец.
Этаж на этаж,
и еще раз этаж,

и чердак,
и в крыше окно.
А в стенах нету окна,
и плывет, и плывет звезда
с небес к стеклу
                    чердака.

1954

Уральские камнерезы

Есть камни,
скалы, горы.
Они таят в себе узоры
из яркокрасочных веществ.
И, камень распилив,
ладони мастер-камнерез
снимает с камня,
открывая срез.
Волнующее море перед нами
наполнено зелеными волнами,
челнок
  на вздыбленных валах
и косо чайка
  в небесах.

Так мастер глазом угадал
средь глыбы яшмы
каменный рисунок.
Я зависти полна нетленной
к талантам русских мастеров.

Рублев. XV век

Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
и все лицо заполнили глаза.

* * *

Я знаю:
в доме вещь
от долгого житья
с хозяевами рядом
приобретает нрав
хозяйки милой
иль делается желтой и ребристой
в мозолистой хозяина руке.

Не ради барыша
ученики и мастера
из дерева торжественных пород
точили стулья и столы
и каждый стул,
как живопись, несли.

Ковали медные горшки.
Изображенья четкие листвы
чеканили по краешкам сосуда.
А то животных вырезали
резцом по дереву на стульях и столах.

Недаром вещи в сказках говорят
на человечьих языках.

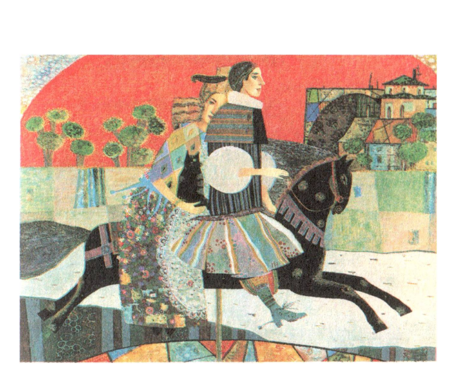
Инкрустация

На японской лаковой коробке —
для восторга малых
и раздумий старших —
из перламутра мастер
создал радость,
изобразив цветок
и капли дождевые.

Была коробка черная под лаком,
как ночь под воздухом прозрачным,
только вместо луны — маргаритка
да зеленые донышки капель.

Готика

Взлетали стены,
суживаясь к солнцу,
и свод, как череп изнутри,
вздымал надбровницы и дуги,
без позолот и мишуры,
лишь, щеки пышно надувая,
в серебряные дудочки играют
младенцы-ангелы в раю.
Одеты в ризы кружевные,
стоят надменные святые.
Вот, с книгою в руках,
на пьедестале каменный монах,
и руки, словно клювы
хищной птицы,
терзают вечные страницы,



высасывая ересь из листов.
Лоб затемняют складки капюшона,
и провалились щеки внутрь лица.
Но губы он
                не спрячет никуда.
Они сочны,
                влажны
и тайно сытость любят
                                больше Бога...
Потомки ручки им целуют,
поклоны бьют
и свечки жгут.

* * *

Любит мое поколение
птиц острокрылых,
и поляны, и рощи,
и венцы на цветах
среди листьев зеленых.
С этих растений, наверное,
зодчие древние
брали рисунок, когда строили
Спасскую башню.
А зубцам на Кремлевской стене
форму ласточкина хвоста
дали старые мастера...

О мастерстве

В строении Блаженного собора
все повторяется горшок,
рисованный багрянцем.
А из горшка росток,
и вправо лист на черенке,
и влево лист на черенке,
а посредине на стебле
алеет луковый цветок.

Люба

У женщины русской
свое отношение к травам:
девчонкам они заменяют
игрушки,
а девушки наши
венки и короны
сплетают из листьев
зеленых.
А матери
моют и лечат
травою ребенка.
А мудрые бабки
целебность корней травяных
постигают.

А моя современная Люба
рисовала цветы на фарфоре.
Пять лепестков
у незабудки голубые;
и в каждом лепестке —
из синего черта́,
и солнце желтое
на донышке цветка,
и в каждом солнце
точка из багрянца.
И сердцем листья
травяного цвета
на золотистых стеблях.

И может,
взгляд тоскующий
на дальней на чужбине
посланник наш
или матрос
на травы русские на чайнике



уронит за вечерним чаем —
и вот прихлынет к сердцу странника
родины прекрасное лицо.

1957

* * *

И заметила луна:
каждый вечер у окна
молча девочка сидит,
на нее — луну — глядит.

От внимания такого
зарумянилась луна.
«Что за милый человечек
из открытого окна
в небо смотрит на меня,
вы заметили, звезда?»

В удивлении звезда....

Отрывок

...И стояла на ступени
в красноклетчатой
шерстяной кофте
добрая хозяйка.
А в руках у ней рябина,
поросенок у ботинок
кушал сладкую рябину,
и ни тына, ни оград:
вместо тына
все рябина
понасажена подряд.
А у самой крыши
в косяках окна,
что срублено меж стен
старинных,

проконопаченных
кудельной позолотой,
плечи голые выставив,
в звездных веснушках вся,
остроскулая,
зореволосая,
сидела девица
с ногами босыми,
уцепившись за пластину окна,
а глаза зеленым фонарили...

* * *

И цветет рябина
горьким белым цветом
у окна покинутой жены.
На ветвях рябины
почему-то птицы
гнезд не вьют весенних,
песен колыбельных
не свистят в листве...
И стоит рябина
вся в цветах горючих,
белыми букетами
украшая ветви,
тонкая, высокая,
грому непокорная,

пред лицом соседей
горечь одиночества
пряча у корней.

* * *

На сосновом табурете
блюдце чайное, как море,
с голубой водой стоит.
Ходит по морю синица
с черным глазом на боку.
За окошком снег идет —
птица в комнате живет.



Наш двор

На небе тишь,
а под небом ночь...
Во дворе у нас тень и свет.
И окна, как пчелы на черных стенах,
блестят позолотой стеклянных
крыльев.

Колыбельная месячному сыну

Мальчик очень маленький,
мальчик очень слабенький —
дорогая деточка,
золотая веточка!
Трепетные рученьки
к голове закинуты,
в две широких стороны
словно крылья вскинуты.
Дорогая деточка,
золотая веточка!

* * *

И ели недвижны,
и небо недвижно,
и снег на деревьях
лежит неподвижно.
И только змеится
заснеженный воздух
струеньем снежинок
с высот на подножье.

* * *

А земля наша прекрасна.
И, может быть, одинока
среди пламенных солнц
и каменно-голых планет.
И вероятней всего,
что сами мы —
еще не выросшие боги,
живущие под воздухом целебным
на нашей зеленой
и сочной земле.

* * *

Нет! Зеркало не льстец,
правдивее поклонников оно,
мой милый,
мой домашний друг,
я скоро подойду к тебе,
и ты, не улыбаясь, отразишь
седую голову мою.

* * *

По внешности ты как подснежник
с неразвернувшимся венцом,
покрыт он колкими листьями,
чтоб мороз с секущими ветрами
не заморозил лепестков.
Ты с угловатыми плечами
и с нервно-резкими руками,
с лицом, закрытым изнутри
от дерзкой юности своей.

Слон и козел

Козел на высоком холме
пасся и скакал, горд и самодоволен.
У подножья холма слон стоял.
Глупец увидел это и разинул рот:
«О великий козел! При своей вышине
над этим маленьким слоном
смеяться ты должен.
Как удивительны дела судьбы.
Слона делает она малым,
козла великим».
Проходит мимо умный человек,
услышал это и молвил: «О невежда!
От места внизу слон не становится
низким,
козел-то сам мал, да холм высок».

В лесной сторожке

Там, где кончается небо и начинается край земли, изба из необхватных лиственниц подпирает склоненную синь.

Выглаженные ливнями до стекла, битые грозами дочерна, блестели сущие зеркала, голубым отсвечивая на углах и зеленые после дождя. И вот тут-то между концом и началом — уважаемый земно — проживал мой хозяин с лицом богописным. Был он в возрасте древнем — лесник, и действительно, ситцевый красный рукав до локтя обнажал плоскобокую поручень ладоней, и кулак, как тесак, золотился в веснушчатой коже. Ученым печка рус-

ская медведем на задних лапах села у стола, Анисья Павловна у печки: есть ситцевый характер, а шелковый слывет добром, а бархатный — такой встречаешь редко, а у Анисьи старой нрав был холстяной. Вещам, деньгам старуха знала цену, недаром руки треснули в работе, как булки в перетопленной печи. Под желтым лбом из-под платка чуть опустились полукружьем седые веки на глаза. Вот Анисья открыла печку и из печки достала лист, пироги аржаные в нем испеклись. Жила капуста в пирогах, изрубленная мелко. И с конопляным маслом лук капусте дал обширный вкус. И от жары в печи возник в росных туманах огород, на грядах запахи растений, качанье луковых голов. А место родом от земли — его железная руда с наземом пашен зачала и вечным небом напоила.

* * *

Вот женщина идет с узлами,
бросая взгляд завистливый в толпу...
Таких я сразу узнаю:
ей непонятна улица Москвы
и ненавистны люди —
                                        с легкими цветами.
На платье вышиты бутоны,
не знающие мыла и воды.
Румянец щек не первой новизны.
Спросить бы, кто она!
Зачем лицо не умывала!
Зато от переносицы к виску
шнурочками на мирном лбу
тонёнько брови навела
и губы краской подвела.

Серебряные кольца на руках,
и серьги медные в ушах,
и полукружья пыли за ногтями.
Прошла, идущих задевая,
без выраженья на лице,
лишь красный огонек в зрачке
вдруг загорелся на мгновенье,
когда, нарядная как бог,
шла дама
в пестром оперенье.

* * *

В толпе,
весною осененный,
прошел нарядный гражданин —
весь цвета стали,
сам блондин,
лицо с капканьими зубами,
а вместо глаз —
хорьки сидят
и из ресниц, как из травы, —
косятся в сторону поживы.

Листья смородины

«Листья смородины!
Смородины листья!
В наших листьях ягоды,
красные смородины,
и ягодка поменьше,
и еще — побольше,
и еще раз больше,
и еще раз больше,
алые, прозрачные,
как дождины в радуге,
на стеблях сидят.

Листья смородины!
Кому смородины листья?»

И женщины,
прекрасней пчел
с оранжевыми талиями, проходят
и очарованно подходят,
к корзинам ягод —
с сердцем птиц,
и птичьим оком
ряд обводят.

А я — солдат
и еще — поэт,
а может, студент я —
и тоже поэт,
а может, еще кто-нибудь
из всех,
населяющих звездный мир,
мимо красных ягод иду
и несу на ладони хлеб.
А над городом — высоко,
а над зданьями — широко.

Холмы сиятельных цветов
бросают вызов
бледному закату,
на площади
перчатку лилий уронив.

«Листья смородины!
Кому смородины листья?»

* * *

Дом, в котором я живу, —
полутерем,
полудом.
И ступень одним концом
погрузилась в прах времен.
На ступени меж расселин
фиолетовый лишайник.
И растет вокруг поляна,
и колодец между трав.
Звездным небом у колодца
бочки полные стоят.

А я
приезжаю из Москвы
усталая.

Никак не привыкну
к бетонам,
асфальтам.
А здесь под ногами
и стебли и травы.
По скошенным травам
шла я недавно
и вдруг разглядела,
до этого раза
была как слепая
и мимо ходила.

А кто-то
до страшности щедрый
полотна созданий оставил:
одуванчика лист,
мысообразный и бледно-зеленый,
лежал на трехлистнике
темно-зеленого клевера.
И от дикой моркови

перисто-хрупкие листья
чуть колыхались
на фоне желто-огнистой ромашки.

Утро

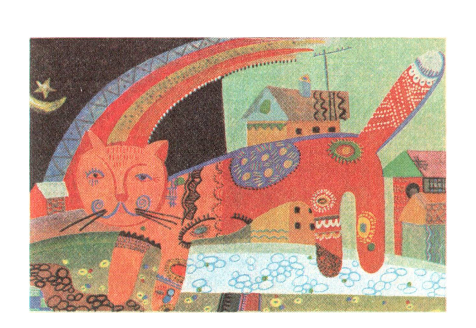
Выходят из зданий
рабочие люди,
одетые прочно:
                    в брезенты и сукна,
в сапогах на гвоздях,
с инструментом в руках.
И от лиц после сна
веет влажностью трав.

* * *

Прекрасное мы чувствуем
по облику времен, —
если бы Девятую симфонию
Бетховена
вычертить в чертежах, —
она бы уподобилась утру
на улице Горького,
и линии углов или колонн,
протянутые ввысь,
ты ощутишь,
как струн скользящий ряд.
Чуть прикоснись рукой —
и тихий звон
раздастся над землей...

* * *

Холмы лежали под снегами,
как будто детская рука
углем по синим небесам
цепочки изб нарисовала,
и солнце опускалось за стволы,
и лес рассеивал лучи,
ручей в снегу не замерзал
и все как голубь ворковал.



Осень

Между хвойных елей
и округлых кедров
солнце прошагало на закат,
и уселось на краю земли,
и, как два
                    пылающих крыла,
протянуло медные березы, –
в небесах себя не уронив.

* * *

Я сижу
перед белой бумагой,
и слова из нержавеющего сплава,
словно глину,
мну в черновиках.
Свечка оплыла и поседела,
над окном звезда сгорела...
Чья-то дружба с жизнью порвалась.

1956

Дом Союза писателей

Нет к нему
ни дорог, ни шоссе,
но ты отдал себя стихам –
и иди.
Будут душу
дожди мочить,
станут душу
молнии бить,
нет в пути
ни машин, ни крыш.
Вот и дом
посреди Москвы.
Печатают валенки
следьями пол,

и овчинный на мне кожух
      груб, неуклюж.
И мне стыдно следьев моих
      на зеркальном полу
и швейцаров стыдно до слез.
Но множество мною
      пройдено зал —
я, и это отринув,
      иду.
И опять —
преградою на пути
      не рукам,
      не ногам,
а мыслям моим
и понятьям моим —
над последней ступенью в зал
мрамор стоит без одежд
в откровении белых линий —
творец ее
похитил у природы

изгибы вольные стеблей
и колыхание ветвей,
непринужденные поклоны
отягощенного цветка
на хрупкость тонкого плеча.
Я не привык так явно и открыто
смотреть на очертанья человечьи.
Но где пределы
торжествующих восхищений
пред телом моим и вашим?
И зеркало отразило
молодого поэта,
впервые идущего в Дом писателя.
Это ничего,
что лицо у поэта как степь...
Веруешь, что слова твои
высушат наговоры зла
и добро принесут стихи,
что поэмы людям, как хлеб
в голодающий день, нужны,

что ты голод насытишь их.
Если веруешь — так садись,
оставайся тут и живи!

Обращение к Музе

Что ты, Муза,
все ходишь за мной
и поешь мне в уши
стародавние ритмы?
Видишь —
Москва отвергла ямбы,
кирпичи сменила на металлы,
новые пронзительные песни,
словно нити,
вдернула в сердца.

* * *

О мой талант,
дай силу мне
мой тяжкий труд
окончить до предела.
Не отнимай всепокоряющую кисть,
дай искренность в словах,
дай правду жесткую в чертах
людей и подвигов,
что выну из души.

* * *

Люблю тебя, моя Россия,
ты уважала пчел и мир,
мечи лишь в крайности точила,
когда незваный чужестранец
ломал подсолнухи твои.

О себе в будущем

Будет холм надо мной,
как над всеми,
хорошо бы
на краю села...
Крестик небольшой
в ногах поставить
в честь того,
что русская была.

Воображение сердца

Послесловие

Забыто ли имя — Ксения Некрасова?

Кажется, само это имя, сама эта судьба всплывают со страниц забытого дневника — так много сокровенной потаенности в этом вопросе, обращенном, похоже, только к себе. Но вопрос обращен шире — к поэтам. Историкам литературы. Критикам. Читателям, наконец.

Тот факт, что у многих современных поэтов — Я. Смелякова, Е. Евтушенко, Б. Слуцкого, Н. Глазкова и других — есть стихи, посвященные

Ксении Некрасовой, говорит сам за себя: то, что не дорого, чего не любят, — не вызывает посвящений...

Но если вдуматься в характер художественного отношения к образу Ксении Некрасовой, то поражает щемящее чувство «виноватости» перед ней, с такой откровенной пронзительностью выраженное в известном стихотворении Ярослава Смелякова:

Что мне, красавицы, ваши тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной
шляпке
в стихотворение медленно входит мое...

Ксения Некрасова входит в память поколений. Она была из когорты непризнанных поэтов трудной судьбы, так резко контрастирующей с бла-

гополучными сытыми судьбами официальной писательской элиты. Опубликованы неизвестные ранее мемуары[1], обнародованы новые факты, проливающие свет на то, как много обид затаила она в своей душе и унесла с собою, незаслуженных, горьких обид, в сравнении с которыми и «жалкая соломенная шляпка», и платье с «матерчатым мятым цветком», и дачная станция, где «вечно без денег она всухомятку жила», воспринимаются не более как поэтические реалии. Ведь самая горчайшая из обид, которую пришлось испытать Ксении Некрасовой за ее недолгую жизнь — она прожила 46 лет, — это официальное непризнание со стороны Союза

[1] Некрасова Ксения. Серия «Самые мои стихи». М., Слово (Slovo), 1997.

писателей, отказ принять ее в свои ряды.

Надежда Чертова, бывшая тогда работником аппарата Союза писателей, вспоминает, как это было: «Неизменно шла она и шла к Дому писателей, в особняк с колоннадой, воспетый еще Львом Толстым. Она и воспринимала этот дом сложно, многогранно и по-своему неповторимо. Тут было и нечто вроде преклонения, и чуткое ожидание, — что-то дом этот скажет ей, Ксене Некрасовой? — и жертвенная готовность ждать, ждать и верить.

У нее и стихотворение есть «Дом Союза писателей», начинающееся пророческими — в отношении судьбы самой Ксении — строками:

Нет к нему
ни дорог, ни шоссе...

И сама Ксеня свято верила, ходила в Дом писателей, преодолевая столь естественный в женщине стыд за свои бедные одежды, терпеливо, с тайным волнением, огромность которого так нетрудно понять, ожидала, чем же ответит ей Союз писателей.

И дождалась: Союз писателей на ее заявление о членстве ответил отказом.

По долгу штатного сотрудника рабочей части президиума московской нашей организации я обязана была присутствовать на заседаниях Секретариата СП СССР, которому мы тогда были непосредственно подчинены. Теперь не помню, кто председательствовал, — Фадеева не было.

Проголосовали с какой-то рассеянной поспешностью и перешли к другим вопросам. Я сидела ошеломлен-

ная. Ксеня ждала за дверями зала, я ее видела, идя на заседание. Ни одного ее возможного защитника — ни Асеева, ни Светлова, ни Смелякова — в зале не было. Я только подумала: сиди на своем обычном председательском месте А. А. Фадеев, с его тонким, умным, любовным пониманием поэзии, не допустил бы он такой поспешности...

И тут мне передали записку. Кто-то из наших замов, скорее всего Е. Долматовский, просил меня выйти и сказать Ксене о решении, не маять человека зря.

Это было тяжкое поручение. Расстояние в несколько шагов до дверей зала я преодолела на свинцовых ногах.

Ксеня ожидала, стоя в двух шагах от дверей. Я подошла к ней вплотную.

— Ксеня... — Тут я поперхнулась, голос у меня стал хриплым. — Вам отказали.

Она продолжала стоять молча. Яркий ее рот был полуоткрыт, словно от жажды, а в опущенных руках угадывалась беспомощность предельная, горестная.

— Да. Спасибо. — Она облизнула сухие губы. — Я пойду» («Моя Ксения». Воспоминания о К. Некрасовой. Альманах «Поэзия», № 46, 1986).

Потрясение было столь незаслуженно и велико, что Ксения Некрасова, по-видимому, так и не сумела от него оправиться: спустя некоторое время после случившегося она умерла (17 февраля 1958 года).

Непризнанный поэт?.. Да, ее официальная биография укладывается в

несколько строк. Родилась в 1912 году, число и месяц неизвестны, в деревне Ирбитские Вершины Екатеринбургской губернии. В 1938—1941 годах училась в Литературном институте имени Горького. Первые стихи опубликовала в 1937 году в журнале «Октябрь». Первый сборник стихов «Ночь на баштане» вышел в 1955-м. Посмертно издан сборник «А земля наша прекрасна!» (1958).

Но одновременно с этой существовала, была другая, творческая биография поэта, в которой нашлось место и признанию, и восхищению, и высокой оценке. Известно, что Алексей Толстой переписал несколько ее стихотворений в свою тетрадь, что Михаил Пришвин отметил в своем дневнике, что у Ксении Некрасовой, как у

Хлебникова и у многих таких, «души сидят не на месте, как у всех людей, а сорваны и парят в красоте», что Анна Ахматова «по собственной инициативе» бралась «пристроить» ее стихи.

Нашлось место и просто человеческому соучастию и состраданию, желанию облегчить нелегкую жизненную ношу поэта. Так, в воспоминаниях Надежды Чертовой, уже упоминавшихся здесь, говорится о библиотекаре ЦДЛ Елене Ивановне Авксентьевской, умном и преданном друге и помощнике писателей, чью поддержку неизменно получала Ксения Некрасова. Елена Ивановна открывала ей читальную комнату задолго до официального открытия библиотеки, чтобы не имеющая дома Ксения могла спокойно поработать. На одном из стеллажей, вплотную забитых

книгами, она ухитрилась выделить местечко для ее стихов, куда она складывала свои исписанные листочки...

Необходимо вспомнить и Льва Рубинштейна, бережно собравшего и сохранившего эти «исписанные листочки», — а писала Ксения Некрасова на случайных клочках бумаги, в школьных тетрадках, в альбомах для рисования, — рассеянные по разным местам: именно благодаря его самоотверженным усилиям вышли все посмертные книжки поэта, вплоть до последнего времени. Он отыскал немало новых, неизвестных ранее текстов, в том числе и фрагменты из немногих уцелевших, но представляющих огромную ценность записок Некрасовой о поэзии и о себе...

По свидетельству публикатора, Ксения Александровна начинала рассказ

о своем детстве следующими словами: «Детство мое прошло великолепно! Отец был горным инженером. Жили между Ирбитом и Шадринском, вблизи Егоршинских каменных копей...» Но это так мало соответствовало подлинной жестокой и беззащитной правде — ведь родителей своих она не помнила, была взята из приюта семьей учителя на воспитание...

В этом — вся Ксения Некрасова. Но так ли уж она далека от истины — от той подлинной, большой, философской Истины, что — несмотря на все — существует? Если правда, что биография поэта — его книги, то такая — счастливая, красивая, возвышенная — биография у Некрасовой существует. В ней есть и чудесное присутствие детства, и строгий, благоговейный трепет

в храме науки — «моем институте», и огромные просторы Урала и Средней Азии, где она была в эвакуации в войну, и ликующее чувство победы, пережитое вместе со всем русским народом, и испытанная ею радость горького материнства...

В этой биографии — трагической и светлой одновременно — было все, что необходимо для того, чтобы произрасти поэзии. Так оно и случилось.

* * *

Чем жива поэзия? Почему «непризнанные» стихи Ксении Некрасовой живут в сознании читателей, несмотря на меняющееся время, на новые кумиры? Именно критике, согласно традиции, идущей от В. Белинского до

М. Бахтина и уделявшей столь много внимания «посмертной судьбе художника», самое время поставить этот вопрос и дать ответ на него многочисленным любителям и ценителям ее поэзии.

Справедливости ради следует сказать, что он был поставлен еще при жизни Ксении Некрасовой, когда Николай Асеев впервые напечатал в 1937 году в мартовской книжке журнала «Октябрь» три стихотворения никому не известной молодой поэтессы (ей было в ту пору 25 лет): «Украинка», «Девушка моего времени», «Отдых».

Это был поступок, была оценка, было отношение, ибо «имя совершенно незнакомого автора», неожиданно остановившего на себе внимание, было

выхвачено острым критическим глазом маститого поэта буквально из конвейера гладких, пристойных стихотворных прописей... Да, чутье на «свежий почерк, непохожий на другие, иногда с виду неразборчивый, но несущий свой взгляд на вещи, свои думы, свою наблюдательность», не подвело Асеева. И его выбор тогда, в те годы не был облегченным. В заметке «Об „Отделе молодых“», которую Асеев напечатал в качестве послесловия к публикации из Ксении Некрасовой, он проницательно — как бы заглядывая в будущую судьбу незнакомого автора — говорит о том, что ее поэтические строки, так непохожие на «обычную скоропись подражателей и эпигонов», «вызывают недоумение у присяжных оценщиков и приемщиков». Он

приводит в качестве примера аргумент своего «молодого сотоварища» по работе (оставшегося неизвестным), буквально восставшего против печатания стихов Ксении Некрасовой. Эти аргументы весьма характерны: стихи сырые, небрежный набор фраз, без определенной идеи, просто наброски...

Сколько раз приходилось, видимо, Ксении Некрасовой слышать это «заключение» о себе, этот безжалостный приговор из уст «присяжных оценщиков и приемщиков» -- ведь она практически не печаталась, а единственная вышедшая при жизни, стараниями поэта Щипачева, книжечка ее стихов — «Ночь на баштане» (1955) — включала — всего лишь! — четырнадцать стихотворений, что равносильно — по нынешним меркам — одной подборке.

Тем большую значимость представляют возражения Асеева своему оппоненту, представлявшему не просто другую — господствовавшую тогда, официальную точку зрения на явление Ксении Некрасовой: «Я именно и считаю, — решительно утверждал он, — что печатать нужно потому, что „автор способный человек“. Что же касается того, что стихи „не сделанные“, то и тут я вижу хорошее качество автора. „Сделанных“ стихов у нас печатают много. До того много, что вот и у товарища, приглашенного редакцией для отбора молодых, начинающих авторов, пропало чувство отличия строки „сделанной“ от живой. Он привык иметь дело со строчками, подогнанными под размер, с чередующимися рифмами, с отбитым ногой ритмом, и он

уже не слышит, не чувствует внутреннего движения размера строки, ее жизни. Он привык к имитации строфы, к монтажу отдельных строк, не связанных ничем, кроме формальной зависимости. Он не узрел живого организма стиха, пусть еще не законченного в своей формации, но уже радующего своей правдивой сущностью, своим живым дыханием. Нет, стихи Кс. Некрасовой не подходят под мерку обычных версификаторских упрощений. И зря подходить к ним с аршинчиком обычных требований, измерять ее размеры, копаться в поисках точной рифмы. Это все она может приобрести задешево. А вот того, что у ней есть: непосредственной связи с окружающим, внимательного глаза, чуткого уха, — не добудешь, не доста-

нешь ни из каких литературных консультаций, не научишься ни из каких учебников».

Николай Асеев заканчивал свои критические заметки «Об „Отделе молодых“» (кроме Ксении Некрасовой, им было замечено еще одно имя — Александра Яшина, тоже оправдавшего впоследствии надежды) решительным образом: «Нет, Ксению Некрасову мы напечатаем, а читатель пусть скажет свое мнение без предвзятости, без наморщенного в недоумении лба: сырой ли это набор фраз или настоящие строки поэта... чья „сырость“ есть сырость росы на листьях, сырость взрыхленной земли, сырость морского ветра».

Читатель сказал свое мнение — «за», и оно оказалось решающим: небольшое наследие поэта, насчитывающее

не более ста стихотворений, выдерживало одно издание за другим; тоненькие, невзрачные, не всегда со вкусом оформленные книжки мгновенно исчезали с книжных прилавков, оседали в домашних библиотеках, в памяти... В истории русской поэзии XX века, где так много блестящих имен, жило и ее, Ксении Некрасовой, имя.

* * *

Каким высоким ореолом, граничащим с благоговением, с поклонением и преклонением, окружено здесь понятие: Мастер, мастерство. Оно — у Ксении Некрасовой — непременно волшебное, ибо служит преображению вещей; его секретами в равной мере владеют и «зодчие древние», и ураль-

ские камнерезы, и хозяин обыкновенной — и вместе с тем необыкновенной, говорящей лопаты.

Такое созидающее, приносящее людям радость и красоту мастерство вырабатывала в себе всю жизнь и сама Ксения Некрасова.

Это только на первый, поверхностный взгляд может показаться, что работала она исключительно по наитию — как птичка божия. За действительно незаурядной — от Бога — интуицией скрывались твердые эстетические принципы, глубокое понимание и осознание смысла того, что она делает. Истока, который ей виделся в древнейшей традиции русского слова, русского бытия и русской литературы. Сохранились записки, в которых она размышляет о нерифмованном стихе, как

бы отвечая на не раз возникавший вопрос, откуда он, незваный гость — нерифмованный стих, — пришел к ней. Так ли уж случаен он в ее творчестве? Вот ответ: «...былины о богатырях устно передавались в народе из поколения в поколение белым стихом. А странники молитвы, и сказания, и сказки, и акафисты сказывали на Руси тоже белым стихом».

Как жемчуг, русские слова
лежат в сиянье оболочек, —

не случайно именно так пластически — образом, формой и цветом — выразила Некрасова свое поэтическое представление о белом стихе.

Углубляя свою мысль и обнаруживая при этом серьезный интерес и вкус

к познанию истории русской поэзии, она толкует о сложных, неоднородных путях ее развития: «По-видимому, у нас на Руси еще в глубокой древности существовали два потока поэзии, одно течение — это стихи без рифмы, основанные на глубокой мысли и образе, где словам тесно, а мыслям просторно, поэзия историческая и государственная, о трагедиях и победах народа. Поэзия, созданная белым стихом. И второе течение — это зарифмованные стихи, то есть те, где главную роль в создании стиха играет рифма: одинаковое созвучие окончания строчек стиха. Такая поэзия в древнее время создавалась скоморохами и людьми... с проницательным глазом».

Некрасова сделала свой выбор — в пользу свободного, гибкого, искусно интонированного стиха, «основанного на глубокой мысли и образе», но она существенно дополнила и обогатила его и «проницательным глазом», и способностью к молниеносным и точным рифмам, перезванивающим, как сигнальные звоночки, чаще всего в конце стихотворения, усиливая его мысль.

И какое завидное разнообразие! В ее поэзии встречается и интонация заплачки, причитания («И цветет рябина горьким белым цветом у окна покинутой жены... И стоит рябина вся в цветах горючих, белыми букетами украшая ветви, тонкая, высокая...»), и интонация колыбельной («Мальчик очень маленький, мальчик очень

слабенький — дорогая деточка, золотая веточка!»), и интонация ритмизованной прозы, знакомая нам по произведениям А. Белого, А. Ремизова, Ф. Сологуба («Ученым печка русская медведем на задних лапах села у стола, Анисья Павловна у печки: есть ситцевый характер, а шелковый слывет добром, а бархатный — такой встречаешь редко, а у Анисьи старой нрав был холстяной». — «В лесной сторожке»), и интонация мифа, легенды, притчи, которые «пишутся на меди» (Л. Леонов):

И долго сидел
над землей Саваоф,
высекая замысел свой.
А когда он руки свои
отделил от работ,
положив у ступни отупелый резец,

и встал —
тончайшей розой
из мраморных гор
лежала земля...

(«В котловине хребта Алатау»)

Поэт не нуждается в оговорках, в набивших оскомину штампах: его «идея», или пафос, как говорил В. Белинский, отчетлива и может быть выражена одним словом: любовь к родине. Сколько рассыпано в поэзии Некрасовой строк, строчек, в которых она открыто, не таясь, признается в своей любви к России, к русской истории, к русской речи:

Я долго жить должна —
я часть Руси.

(«О себе»)

Храните Родину мою!
Ее берез не забывайте,
ее снегов не покидайте.

(«Русский день»)

Традиция русской патриотической лирики, связываемая в нашем сознании с именами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока, Есенина, Волошина, Ахматовой, Рубцова, напоена у нее живой водой Сказки. Три созданные ею сказки, поставленные рядом друг с другом, — грустные и человечные, мудрые и наивные — «О коте и еже», «О воде», «Сказка» (о том, как писатели «к Сказке тянутся руками и капканами стучат»), только подтверждают, чем была для нее фантазия. «„Фантазия“ — она реальна, когда фантазия сказку рисует, — это уже дей-

ствительность... и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой ее рисует наша фантазия...» Эти слова Ефима Честнякова, близкого ей по духу художника, многое объясняют в природе и ее рисунка сердца...

Вот еще один принцип, который исповедовала Ксения Некрасова и который в наши дни воспринимается по-особому ново и свежо. Его можно было бы определить как принцип «всамделишности», или документализма, если б это не выглядело слишком осовремененно. У самой Ксении Некрасовой есть поразительно тонкое наблюдение на сей счет: «А если послушать, как разговаривают или письма пишут русские люди, так целые куски речи или пись-

ма можно без поправления вставить в главы поэмы...» Здесь проявлены не только чуткость к живой, разговорной, необработанной речи, но и провидение далеко идущих возможностей не то чтобы введения в поэзию документа — создания иллюзии документа: «записок», «дневника», «письма». И в самом деле, что такое обращение поэта к своему письменному столу: «Мой стол, мой нежный деревянный друг...», как не живое, теплое, полное человеческого участия письмо, посланное по почте?

Это умение расположить стихи на границе документа и читательского доверия («Вы, читатель, право, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома») и есть, по-видимому, то, что придает таланту Ксении Некрасовой

устойчивый долголетний аромат своеобразия и непохожести.

* * *

«Если бы из меня мог вырасти цветок, — его б я родила», — говорит героиня одной из повестей Андрея Платонова. Это признание воспринимается как своего рода условность, отражающая своеобразие модели платоновского мира: трудно представить себе столь живое воображение сердца реально существующим в жизни — но...

Встретила я
куст сирени в саду.
Он упруго
и густо
рос из земли,
и, как голых детей,

поднимал он цветы
в честь здоровья людей,
в честь дождей и любви[1].

Оказывается, оно действительно существует, как существует поэзия, растущая не из слова, рифмы, ритма, а из столь острого чувства «бесконечного восхищения жизнью», — «неутоленности рук», «неналядения глаз», — когда хочется что-то людям дать — и в одном этическом ряду становится «добро ли совершить иль написать стихи»...

Именно такие стихи написаны Ксенией Некрасовой.

Собранные воедино в эту книгу, — а нынешнее издание именно книга лири-

---

[1] Один из вариантов стихотворения «Сирень», не вошедший в настоящее издание. *(Примеч. составителя.)*

ки, представляющая лучшие стихи поэта, — они несут в себе то ощущение подлинности, о которой лучше всего сказал сам автор: «Мои стихи иль я сама — одно и то же, — только форма разная».

Это — подлинность дневника, где с документальной точностью «день пришпилен к бумаге» (Пришвин): нерифмованные, неотглаженные строчки, спешащие к тому, чтобы завершить мысль, «вместить ее в три слова», — про мороз, наш двор, утренний автобус, дневное кино в будни или про то, что в авоське лук торчит зелеными стрелами, — теснятся рядом с картинками из детства, рисунками, утренними этюдами, зарисовками, выполненными по памяти и с натуры, — которые, в свою очередь, соседствуют с «законными» жанровыми образованиями — сказками, песнями.

Но вот что примечательно: этот безыскусный, прихотливый и, казалось бы, пестрый, разнородный материал, записанный только «для себя», на наших глазах перерастает рамки дневника, выходит за границы «самовыражения» еще одной индивидуальности — любопытной, оригинальной, но — и не более...

Перед нами больше чем дневник, — перед нами п у т ь с е р д ц а — единый цельный поэтический организм.

Как и всякий путь, путь сердца пролегает во времени. Хотя даты написания многих стихов не установлены, их «окрашенность» временем можно безошибочно определить по тем частицам хроники события, истории, которые насквозь «пронизывают» содержательность стиховой структуры: «Лежал Урал на лапах золотых, электростан-

ции, как гнезда хрусталей, сияли гранями в долинах» — 1930-е годы, «и жило много нас в тылу, в огромной Азии в горах» — 1940-е годы, «солдат с войны вернулся жив» — послевоенные...

Но с не меньшей отчетливостью — и это существенный показатель времени, XX века, — путь сердца располагается в пространстве. Люди как дети — а дети

...как всякая поросль людская,
отличны они от зверей и птиц
воображением сердца.
И оттого-то и возникает
                    в пространстве
между живущим и говорящим
и безначальная боль,
и бесконечное восхищение
                              жизнью.

(«Утренний этюд»)

Сразу же бросается в глаза: романтическое «вещество выражения» этого восхищения жизнью в стихе Некрасовой резко повышено — оно несет на себе печать самобытной индивидуальности поэта.

Ксения Некрасова так поворачивает к читателю пространство стиха, что возникает иллюзия существования в авторской речи двух голосов — «говорящего» и «живущего».

За картошкой к бабушке
ходили мы.
Вышли, а на улице теплынь...

Кто произносит эти слова? Конечно же лирическая героиня, но так говорить, с такой интонацией детского рассказа, непосредственности, доверия

можно только в самой жизни, как бы не «видящей» себя в литературе, не отвердевшей в литературной конструкции.

Вот одновременно и рассказ о детстве, и картина детства: «...и сели в телегу, и с плугом поехали в поле сеять. Один ноги свесил с телеги и взбалтывал воздух, как сливки, а глаза другого глазели в тележьи щели. А колеса на оси, как петушьи очи, вертелись. Ну а я посреди телеги, как в деревянной сказке, сидела».

Этот авторский взгляд — из глубины вещей — «из деревянной сказки» — выдержан у Некрасовой с удивительной цельностью и органичностью. Вещество выражения неотделимо у нее от вещества существования героини: «...а между землею и небом — я и кружка моя молока, да еще березовый стол —

стоит для моих стихов», — постоянно преображаемого воображением сердца. Она «возвышает» свой язык, чтобы передать чувство, когда «прихлынет к сердцу странника родины прекрасное лицо», неизъяснимая красота русской природы и русского народа, «до белеющих седин живущего чуткой красотой». Так появляются «сгустки наивных формул», самых общих определений, вроде: «восхищение души», «поросль людская», «по последнему слову техники», «к младенчеству весны с любовью припадая», «твое лицо, мой современник нежный», — заставляющие вспомнить своей наивной одухотворенностью язык героев Андрея Платонова. Как и у Андрея Платонова, — это имя естественно и закономерно возникает в связи с Ксенией Некрасовой и свиде-

тельствует прежде всего о том, что ее творчество входит в определенный литературный ряд, литературную традицию (Хлебников — Заболоцкий — Платонов), — эти корявые формулы здесь органичны, ибо неотделимы от характера героини. «Использовать такие конструкции вторично — все равно что использовать затвердевший гипс», — это сказано не только о Платонове, но и о Ксении Некрасовой. Художниках, которым невозможно подражать безнаказанно. Художник этого склада наделен третьим глазом — «он ловит то, что прячется за свет и в тайниках живет, не названное словом».

Именно с ним, третьим глазом, связана удивительная способность Ксении Некрасовой читать «лица прохожих как лучшие стихи», угадывать душу

вещей: «до́ма, в котором я живу», комнаты, платья, воды, листьев смородины; заключать день пройденный... в раму. Так возникают ее портреты как наиболее органичная форма обобщения и уловления внутренней сути предметов и явлений. Даже когда они списаны с «натуры» — портреты Николая Асеева, Анны Ахматовой, Джамбула, Фалька, — то и тогда бесконечно далеки от внешнего сходства, простого жизнеподобия, а поражают высокой степенью условности, «фантастического элемента», преобразовывающего мир по своим художественным законам.

Великий скульптор Бурдель точно заметил: «Портрет — это всегда двойной образ: образ художника и образ модели».

Вот портрет слепого:

По тротуару идет слепой,
а кругом — деревья в цвету.
Рукой ощущает он
форму резных ветвей.
Вот акации мелкий лист,
у каштана литая зыбь.
И цветы, как иголки звезд,
касаются рук его.

(«Слепой»)

Казалось бы, это вполне завершенный объективный портрет обделенного, лишенного зрения человека. Но рядом с ним вдруг возникает — с неповторимой индивидуальностью — образ соучастья, сопереживания — образ автора, Ксении Некрасовой. Еще слышится шум деревьев и трав, которые рукой

ощущает слепой... — и как точно, сердцем угадан образ «строчки — листья»: «Тише, строчки мои, не шумите в стихах...»

Неожиданное, открытое появление автора в стихе, его «глаз» меняет содержание картины, которая теперь идет со знаком философского обобщения: не просто слепой, — а *человек* постигает лицо вещей: «Если очи взяла война — ладони глядят его, десять зрачков на пальцах его, и огромный мир впереди». В этот огромный мир, лежащий впереди, выводит слепого — автор, его доброе сердце.

А вот другой портрет — Анны Ахматовой, с которой Ксения Некрасова встречалась в годы эвакуации в Ташкенте, портрет удивительно многомерный и психологичный.

В поэзии XX века есть немало прекрасных портретов Анны Ахматовой, но, думается, не затеряется среди них и портрет работы Ксении Некрасовой, схватившей едва ли не главное в существе ахматовской поэзии — ее неуловимость, тайну, когда она может «дом заколдовать воздушной веткой голубых глициний».

«А создавать портрет — не значит ли рассматривать человека как пейзаж, и бывают ли пейзажи без фигур, и не преисполнены ли эти фигуры повествованием о том, кто их видел?» — не без основания задавался таким вопросом в начале века Рильке.

Действительно, портреты Ксении Некрасовой, на которых человек словно выходит из пейзажа («а ладони у нас, как кленовые листья, тонки и

малы», «юноша, как тонкий дождик, пальцы милой женщины, словно струны, тихо задевает»), иногда пейзаж — из человека («косились в сторону из окон огоньки, и в их лучах, как слезы ребятишек, роняли ветви наземь свои вишневые цветы»), полны повествования прежде всего о том, кто их видел.

Когда печка русская у Некрасовой высится «медведицей, с ярко-красной душой», — то здесь угадана не только живая, традиционная основа русского дома — помогать людям жить, но и характер героини, умеющей находить и таить «сказки милые». Стол, комната, платье, двор, вода — все вещи и предметы потому столь выразительны и сказочны у Ксении Некрасовой, что приобретают «нрав хозяйки милой» — самого автора.

Развивая мысль Рильке, можно утверждать, что эта поэзия, говорящая о душе человека столь искренне и доверчиво тогда, когда она дает пейзаж, вещи, предметы, отчаялась бы высказать глубочайшее в человеке, окажись она в безбрежном пустом пространстве.

Ксения Некрасова одухотворила пространство, заселила его — от земли до неба — невиданными, яркими, «как млечные созвездья», цветами, сказочной синицей «с черным глазом на боку», лунной ночью, стоящей на старенькой крыше со сложенными темными крыльями, готовой взлететь... Она ощутила космос, окружающий нас, как сказочное существо, полное живых тайн, и он, словно бы благодарный за такое участие, раздвинул границы ее личных переживаний, ее

микромир, небогатый внешними событиями, помог преодолеть одиночество и неустроенный быт, продлил «вещество существования» в творчестве...

Ценность и своеобразие этой поэзии в том, что она не только позволила человеку и пейзажу, облику и миру, внутреннему и внешнему встретиться и найти друг друга (это общая тенденция в поэзии XX века), но и, сохраняя непосредственность чувства и мощь изображения, так пронизать их друг другом, что «отгадки бытия стоят, прислонясь к стене, — рисунком внутрь и холстом на свет».

И не одно поколение читателей будет внимать им с трогательным соучастием сердца.

Инна Ростовцева

Содержание

Ксения Некрасова
В ДЕРЕВЯННОЙ СКАЗКЕ
Стихотворения

Заведующий редакцией *В. Максимов*
Редактор *Т. Шеханова*
Художественный редактор *Г. Клодт*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректор *И. Лебедева*

Издат. лиц. № 010153 от 14.02.97 г.
Сдано в набор 03.03.99. Подписано к печати 03.08.99. Формат 60×84 $^1/_{64}$. Бумага офс. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,66. Уч.-изд. л. 6,16. Усл. кр.-отт. 19,7.
Тираж 5000 экз. Заказ № 3240.

Ордена Трудового Красного Знамени государственное издательство «Художественная литература». 107882, Москва, ул. Ново-Басманная, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГП типографии им. П. Ф. Анохина. 185005, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4



